

Брат нашего Бога

Пьеса

Предисловие

Это попытка проникнуть в глубину души человека. Сам образ героя — всецело исторический. И тем не менее между самим образом и попыткой проникнуть в него пролегает полоса, недоступная для истории, ибо в человеке вообще есть нечто такое, что не позволяет исторически объяснить его исчерпывающим образом. В нем живет внеисторический зародыш, вот он-то именно и находится у самых истоков человеческого в человеке. Попытка проникнуть в душу человека связана с обращением к этому истоку.

Допускаю, что такое обращение, коль скоро оно связано с определенным отказом от исторических деталей, оставляет желать лучшего, поскольку наше внимание всегда должен привлекать факт человеческого в человеке, причем конкретно человеческого. Но мы исходим из предположения, что факт этот не является исключительно историческим.

На этом факте и основывается наше исследование. К нему мы пристально присматриваемся. Однако, может, несмотря ни на что, мы заблуждаемся? Вполне вероятно, поскольку, учитывая вышесказанное, трудно было бы ожидать, что получится нечто большее, чем некий вид правдоподобия, а правдоподобие всегда является выражением искомой правды; речь же здесь идет только о том, сколько заключает в себе подлинная правда. Это зависит от стараний и добросовестности поиска.

Вот где мы почти вплотную подходим к нашему герою. В сознании каждого из нас образ его предстает на фоне многогранной действительности. Именно благодаря связи с действительностью он нам близок и притягателен для нас. Нам хочется найти в его человеческом особый блеск, высвечивающийся на темном фоне этой действительности.

Насколько нам удастся передать этот блеск, заключить его

в доступных нам формах слова? Полагаю, что настолько, насколько мы сумеем принять участие в той самой многогранной действительности, которой принадлежит он, насколько сумеем приблизиться к нему.

Действующие лица:

Адам, он же **брат Альберт**, он же **Старший брат** — художник, участник Январского восстания 1863 г., принявший монашество под именем Альберт, основатель монашеских общин альбертинцев (1888) и альбертинок (1891).

Станислав — художник, приехавший из Мюнхена в Краков на свою выставку, друг Адама

Макс — художник и друг Адама

Пани Хелена — актриса

Муж пани Хелены

Ежи — друг Адама

Люциан — писатель, литературный критик, друг Адама (Все они составляют окружение Адама)

Богослов

Пожилая дама — мать Богослова

(Оба — посетители мастерской Адама)

Незнакомец, одетый в черное, или **Оратор**

Курьер из Городского совета

Обитатели ночлежки, их голоса

Посторонний

Некто, прислонившийся к уличному фонарю

Священник — духовный отец Адама

Марыня — сестра Адама

Дядя Юзеф

Братья-монахи: Себастьян, Антоний, Ян, Щепан, Сборщик пожертвований, Старик и другие.

Хуберт — музыкант.

Время действия: 80-е годы XIX в. и первые десятилетия XX в.

Место действия — *внешнее:* Краков, мастерская Адама-художника, улица, ночлежка, приют для нищих; *внутреннее:* душа Адама.

Действие первое

Мастерская судеб

Расположение и размеры помещения предстанут в дальнейшем. Люди, которые в нем появятся, составляют, помимо прочего, круг лиц, известных в истории. Однако важнее всего — их судьбы, раскрытые призвания.

Двое мужчин, которые в данную минуту ведут друг с другом разговор, постоянно находятся ближе к зрителю и в более освещенной части мастерской.

М а к с : В газетах уже пишут о твоей выставке.

С т а н и с л а в : Да, читал сегодня утром.

М а к с : Я думаю, тебя должны казнить.

С т а н и с л а в : И я надеюсь...

М а к с : Лезешь на рожон. Так нельзя.

С т а н и с л а в : Задумывался ли ты, Макс, над тем, что преображаемое нами ничтожно мало вне нас, до смешного? В сущности, мы лишь силимся ухватить, скорее, подхватить (ну, понимаешь) и выбросить наружу какие-то неожиданные видения собственного «я», которое меняется медленно, но происшедшую перемену осознает вдруг. А потом приходят люди, их интересует только произведение искусства, и вот с его помощью они, собственно, забавляются человеком, который может таким образом менять свою шкуру, точно хамелеон. Им это необходимо. Для них это означает выйти за пределы себя. Не многого же это, однако, стоит!

М а к с : Даже завидую тебе и твоим рассуждениям. Высокого ты мнения о своих зрителях. Мне, честно признаться, было бы трудно решиться на нечто подобное.

С т а н и с л а в : Но ведь...

М а к с : Неужели хочешь спросить, для чего я вообще рисую? Ну, во всяком случае — не для зрителя.

С т а н и с л а в : Я не решился бы ставить вопрос ребром. Сущест-

вует же, кроме прочего, некое отношение, некое соответствие, некая общественная миссия.

М а к с : Так раствори всё это на палитре, залей маслом и залепи пластырем. Может, еще пару слов об ответственности?..

С т а н и с л а в : Почему бы и нет?

М а к с : Прошу прощения, насколько высока эта ответственность?

С т а н и с л а в : Насколько высока? Этого я тебе не скажу, Макс, это личное дело каждого. Кроме того, мы с тобой не первый год знакомы, и я не собираюсь ломать перед тобой комедию.

М а к с : Ну, тогда насколько широка эта ответственность?

С т а н и с л а в : На этот вопрос я отвечу. Так оно и есть. Я верю в высокую миссию искусства.

М а к с : Что еще за миссия: от глаза к кисти?! Ни с каким ремеслом я ее сравнивать не собираюсь. Конечно, нет. Безусловно. Но и преувеличивать не следует. Его ценность в том, что оно меня к чему-то побуждает, дает мне разгон, на который толкает меня мое «я», благодаря чему является для меня критерием того, что оно еще может мне дать. Ведь, в конце концов, очень интересно, как же именно чье-то «я» появляется, захватывает тебя всего целиком и отпускает. Но на этом — конец. Точка. Чего тебе надо еще? В этом его исчерпывающее значение. А что вокруг меня, в других...

С т а н и с л а в : Преуменьшаешь, Макс, преуменьшаешь. Ведь в действительности вокруг тебя и впрямь нечто медленно вырастает, оно растет, ширится. И хотя ты, естественно, принимаешь в этом свое участие, однако не один ты виновник этой тайны. Это же ясно.

М а к с : Заблуждаешься, Стас. И ошибка твоя начинается тут же, рядом с твоим творчеством. Неужели ты полагаешь, будто вокруг него может возникнуть нечто большее, чем круг ложных и противоречивых связей?

С т а н и с л а в : Мы же не о творческих группах тут рассуждаем.

М а к с : Нет, мы не говорим о группах, и мы не говорим о снобах. А говорим мы лишь о самом чутком на свете зрителе и слушателе... Полагаешь, что какой-нибудь обыватель с Шевской или Надвислянской, который варит себе пиво или клепаёт подметки, а то и портит зрение над фолиантами XVIII века, способен открыть для себя

всю правду твоих ассоциаций, твоего видения, твоего волнения?

С т а н и с л а в : Независимо от этого.

М а к с : Что — независимо от этого? Уж если независимо, не разглагольствуй о влиянии и воздействии, о миссии вкупе с ответственностью. Коли уж независимо, то всё это не имеет никакого значения.

С т а н и с л а в : Да ну, цепляешься к словам.

М а к с : Отчасти ты прав. Хотя, впрочем, мне это надо для доказательства моего тезиса.

Станислав хочет его прервать.

Погоди, не перебивай. Видишь ли, существует скопление, просто скопление атомов, которые кружатся, и каждый — в своей плоскости и по своей орбите. Я тоже кружусь в своей плоскости, по своей орбите, и больше ничего. Кого это касается? Кажется, умер бы, если б в этом головокружительном вихре моего «я» мне пришлось бы еще и считаться с воздействиями, влияниями, а уж тем паче — с ответственностью.

С т а н и с л а в : Но выставки все же устраиваешь!

М а к с : Привычка. Да к тому же какая-то часть нашего «я» жаждет рукоплесканий.

С т а н и с л а в : Которыми ты при этом пренебрегаешь?

М а к с : Что поделать. В каждом из нас есть человек разменный, вроде монетки, и человек неразменный, глубочайший, ведомый только самому себе.

С т а н и с л а в : И как ты с этим разменным человеком поступаешь? Ведь не ломаешь ему судьбу?

М а к с : Нет, конечно. Меньше всего меня тянет с ним сражаться. Достаточно просто того, что я знаю о том неразменном, ну, и о преграде между тем и другим, которая есть во мне. Иначе жизнь стала бы тупой и плоской.

С т а н и с л а в : Ну а если бы все-таки пришлось с этим разменным человеком бороться?

М а к с : Было бы невыносимо. Достаточно осознавать его. И в сознании отделять его от себя.

С т а н и с л а в : Забавно. А тебя, Макс, не удивит, если я скажу, что

после нашего разговора ты становишься для меня гораздо менее загадочным?

М а к с : Нисколько.

В открытую в глубине мастерской дверь некоторое время назад вошла пани Хелена с мужем. Никем не замеченные, они очень тихо передвигались от картины к картине, иногда останавливаясь возле полотен. Доверительно беседовали друг с другом вполголоса. Судя по всему, здесь они чужими себя не чувствовали. А одновременно с тем в противоположном углу мастерской — ближе к зрителю — продолжалась беседа Макса и Станислава, которые были так поглощены разговором, что не заметили посетителей. Мастерская достаточно просторная, однако для этого времени дня в ней темно.

П а н и Х е л е н а (*готова вступить в беседу, но пока по-прежнему остается незамеченной. Неожиданно*): А я все-таки считаю, что вы ошибаетесь, Макс! Примите сразу же мои извинения и — здравствуйте, господа!

Собеседники растеряны.

М а к с : Здравствуйте! Вы здесь?

Никаких приветствий.

— Позвольте представить — наш друг, вчера вечером приехал из Мюнхена на свою выставку.

Обмениваются кивками головы.

М у ж п а н и Х е л е н ы : Ах, так это ваша выставка! Читал уже о ней сегодня утром в газетах.

С т а н и с л а в — *снова поклон головы.*

М а к с (*старается овладеть неловкой ситуацией*): Как видите, а скорее, даже и слышите, Стас привез в своем сердечке ворох идеалов, но я — старый пройдоха и ренегат — взял да и накинулся на него, чтоб вырвать их с корнем. Однако, может, вы и не слышали нашего разговора?..

П а н и Х е л е н а : Еще как слышала! И считаю, Макс, вы ошибаетесь!

М а к с : В таком случае мне придется сдаться, ведь я имею дело

с особой привилегированной, неприкосновенной. Так что сразу же и заявляю о своем поражении.

П а н и Х е л е н а : Дело не в этом. А совсем в другом. Просто всё не так, как вы утверждаете.

М а к с : Прошу прощения, но такие вещи трудны для понимания.

П а н и Х е л е н а : То, что вы признаёте и что провозглашаете, скорее, похоже на уход от искусства. Безусловно.

М а к с : А хоть бы и так. Разве я на такой опыт не имею права?

П а н и Х е л е н а : Конечно, имеете. Но трудно доказывать и убеждать, если нет ничего, кроме опыта.

М а к с : Вольно же вам так рассуждать.

П а н и Х е л е н а : О да. И я глубоко в этом убеждена. Вы, может, не отдаёте себе в этом отчета, Макс. Но тут и вправду происходит какой-то таинственный обмен, какое-то взаимное участие.

С т а н и с л а в (*перебивает*): Макс обрушит сейчас на вас всё, что думает о вышеупомянутом обмене и, того лучше, — о человеке разменном.

М а к с : Осмелюсь добавить — здесь роль отведена еще и ответственности!

П а н и Х е л е н а : Вы шутите...

М а к с : Нисколько. Если следовать вашей логике, то именно так оно и есть.

П а н и Х е л е н а : Надеюсь, вы не злорадствуете? И на том спасибо. Не перестаю удивляться, как здорово вам удастся включаться в ход чужих мыслей (*смеется*); и вы — вы отрицаете то соучастие, которое вызывает у других людей ваше творчество, и то влияние, которое оказываете на их жизнь.

М а к с : Я — я отрицаю это влияние, это участие и этот обмен, пани Хелена.

П а н и Х е л е н а : И при этом так блистательно умеете вторгаться в умы и чувства окружающих. И с такой учтивостью...

М а к с : Обычная техника общения. А кроме того, не забывайте, что это совершает человек разменный, который и не слишком глубок, и не так интересен. Намного интереснее человек неразменный.

С т а н и с л а в (*прерывает*): Вот лекция и готова. А я вас предупредал.

Двери быстро распахиваются. Входят Люциан и Ежи.

Е ж и : Здравствуйте, господа! Пани Хелена!

Л ю ц и а н : Адам дома?

П а н и Х е л е н а : И я как раз собиралась спросить об этом.

М а к с : Адама и правда нет.

Л ю ц и а н : А когда он вернется?

М а к с : Если на то пошло, уже час, как он должен тут быть. Я тоже жду его. Но коль скоро мое дело — бездельничать, вот я в ожидании и убиваю время на бесплодную болтовню о человеке разменном и неразменном.

Е ж и : Каком-каком, извините?

М а к с : Неразменном...

М у ж п а н и Х е л е н ы (*прерывает*): Раз уж пана Адама пока нет, мы, пожалуй, зайдем через час.

П а н и Х е л е н а : Разумно. Надеюсь, что пан Адам вскоре вернется и вы, господа, получите возможность отличить наконец неразменного человека от субъекта стихийных перемен.

М а к с : Вовсе не исключено. Да и сам этот субъект в любую минуту может явиться сюда в состоянии полной неразменности и недоступности стихиям. Вот тогда-то мы и схватим его прямо на месте и будем держать до вашего возвращения.

М у ж п а н и Х е л е н ы : Спасибо.

Уходят.

Л ю ц и а н : Похоже, вы нас, разыгрываете, господа.

М а к с : Нисколько.

Л ю ц и а н : А мне действительно довольно трудно найти Адама.

С т а н и с л а в : Скажи, Макс, а у него есть талант?

М а к с : Глубоко в этом убежден.

Е ж и : Хм... сегодня это не столь очевидно. Здесь что-то другое. Понятие «талант» не выражает того, о чем идет речь применительно к Адаму.

С т а н и с л а в : О чем же?

Л ю ц и а н : Я бы определил это так: Адам переживает в себе столько всяких проблем, а на полотно ложится результат всего этого. Не замечали, господа? По-моему, он — художник нетипичный. Хо-

тите знать разницу? Каждый из вас, собственно, ищет на полотне возможных и очередных решений своих проблем. Ваша жизнь разыгрывается, развёртывается на полотне. И потому вам по-другому жизнь не понять. Вы связаны с полотном, зависите от палитры. У Адама всё по-другому. У него потребность в полотне и красках идет откуда-то издалека, из его самой глубинной стихии. Он и берется за них без всякой охоты, чуть ли не с отвращением, потому что видит в них средство, и только в этом качестве они ему и нужны. Вот и всё. Его отношение к своему ремеслу безгранично свободно. Он куда как более независим. Принципиально замкнут в себе, разворачивается и сворачивается внутри себя, не на полотне. Нет. Он нетипичный художник.

Е ж и : Занятно...

С т а н и с л а в : А тогда — кто же он?

Л ю ц и а н : Скорее всего, — типичный искатель. Но не дотошный исследователь, который копается в мелочах, а искатель с размахом, пожалуй, даже лихач.

Е ж и : Пусть так. Но ведь никто не станет спорить с тем, что в последнее время он сильно, очень сильно изменился.

М а к с : Расскажу вам один случай. Произошло это, кажется, с неделю назад. Пришел сюда Любацкий, ну знаете, толстый такой купец, богач в местном стиле. Речь шла о портрете. Адам стал излагать ему свою новую теорию взаимоответственности. Одним словом, полез в кошелек нашего толстосума и давай убеждать того, что все нищие с улиц Звезиныца и Краковской имеют полное право на его богатства. Тот пробовал отшутиться, потом пустил в ход обходительность, наконец, стал изворачиваться. Адам был неумолим. Всё это, естественно, происходило во время беседы. И, конечно, оба эти господина расстались каждый при своем.

С т а н и с л а в : Даже представить невозможно, чтобы с мистического полотна Хмельёвского сошел полновесный образ богача...

Е ж и : Разве что богача из Евангелия. В сущности, не очень-то они и схожи.

М а к с : Полагаешь, поэтому, ему же и на пользу, что не оказался нарисованным? Ха-ха, весьма забавно! Но Адам, Адам...

Стук в дверь.

Макс : Войдите!

Курьер из Городского совета : Квартира пана Хмелёвского?

Макс : Вы к Адаму?

Курьер : Да.

Макс : Его нет дома. А по какому вы вопросу?

Курьер : Тут для него уведомление из отдела социального обеспечения.

Макс : Ага, хорошо. Вручу пану Хмелёвскому, как только он вернется. А пока могу вас заверить, что социальное обеспечение нашло в его лице грозного инквизитора.

Курьер : Что значит — инквизитора?

Макс : А то и значит, что прямо-таки по пятам за вами ходить будет.

Курьер : Не думаю, чтобы это было так легко — ходить по пятам господина начальника отдела обеспечения. Да будь он самим мэром.

Макс : Вы так считаете? Посмотрим, насколько вы окажетесь правы. А пока до свидания.

Поклонившись по всей форме, курьер удаляется, закрыв за собой дверь.

Людвиг : Кажется, я догадываюсь о причине подобных визитов.

Ежи : Но...

Людвиг : Нет, Адам точно чем-то одержим, увлечен. Понимаете, в оборот его что-то взяло.

Макс : Да, и так мощно!

Людвиг : Кажется, я догадываюсь, где искать начало этому. И, знаете, его увлекло, как течением, которое ускоряется с неимоверной быстротой. Так вот, случилось это нынешней зимой или, может, накануне весны. Мы возвращались от графа N. Нас было несколько человек: Леон, Стефан, Адам и я. Где-то на Краковской пошел мокрый снег с дождем, при этом поднялся ветер и вслед за ним в лицо нам швырнуло густой, влажной пылью. Кто-то из нас заметил: переждать бы. Мы нырнули в первую же подворотню. Адам, в вечном своем нетерпении, стал шарить в поисках дверной ручки.

Вдруг без всякого усилия двери отворились сами. Все мы невольно подались внутрь. Помещение было огромное и полутемное, керосиновые лампы, подвешенные к самым стропилам, излучали едва заметные пятнышки света, освещая стены лишь наполовину. Нижняя часть тонула во мраке.

Не забыть мне в этот момент Адама. Он сделал один шаг, второй... и вошел в это мрачное помещение. Мы все остались в дверях. Лишь по полу раздавался стук его шагов. Но ступал он не по дощатому полу, скорее, это был утрамбованный и твердый земляной пол. Постепенно наши глаза привыкли к темноте. И тогда перед нами предстали ряды нар или просто соломенных тюфяков, брошенных кое-как на голые доски. На них ютились люди. Они сидели, лежали, качались, прижав к подбородку колени, точно клешни рака. Курили, играли в карты, вполголоса между собой переговаривались. Где-то в углу скандалили из-за места. Здесь были и мужчины, и женщины.

Но всё это перекрывал глухой стук шагов Адама. Он шел вдоль рядов нар, притягиваемый какой-то неведомой силой. Снял свою широкополую шляпу и нес ее в руке, крепко прижав к груди.

Потом его фигура совсем исчезла из виду, слышались только его шаги, грохочущие в темноте ночлежки, словно падая откуда-то сверху. Так он и шел, провожаемый взглядами: кто-то смотрел с ненавистью, а кто и с любопытством, будто он приблудившийся, впервые ищущий укрытия в этой норе.

Потом он вернулся к нам. Выглядел ужасно. При слабом свете копилки лицо — точно восковое — казалось зеленым. Огромные, потрясенные глаза. Мокрая борода и волосы довершали портрет.

Помню, я сказал ему: «Адам, дождь кончился, мы можем идти». Он молча вышел.

Никто не решился вернуться к прерванному разговору о чудесном вечере в доме графа N. Все мы ощущали эту пропасть...

С т а н и с л а в : А что Адам?

Л ю ц и а н : До самого конца Гродской Адам не проронил ни слова. И попрощались мы тоже молча. Это в его стиле. А потом он пошел в мастерскую. И это тоже в его стиле.

С т а н и с л а в : Пойти в мастерскую?

Л ю ц и а н : Ну да, он творит изнутри себя.

С т а н и с л а в : Может, что-то получится? Какой-то новый творческий период?..

Л ю ц и а н : Не знаю. Я же сказал, что думаю о творчестве Адама. Сказал вам, какого о нем мнения.

М а к с : Тогда ясно, почему он чужой себе, чужой своей живописи. Рисует незаметно и будто ненароком. Иногда не успеет начать — уже бросает кисть и бессмысленно смотрит на Вислу. Наверняка его что-то гложет. Я пытаюсь отыскать в нем всё то, что было прежде, каким он был в мюнхенские годы, когда был мне так понятен — никакой загадочности, без всех этих внутренних надломов, на которых громоздятся тени. И, знаете, — не могу... Понятия не имею, почему, но я просто чувую, что в нем появляется что-то новое, что-то инородное, некие зачатки, мне недоступные...

Стук в дверь.

М а к с : Входите!

Входят Богослов и Пожилая дама.

Б о г о с л о в : Извините, дома ли господин Хмелёвский?

М а к с : Должен подойти с минуты на минуту. А пока я готов его заменить.

Б о г о с л о в : Тогда позвольте нам посмотреть картины пана Хмелёвского. Моя мама специально приехала из деревни, мне хотелось бы познакомить ее с одним из интереснейших явлений в современной религиозной живописи.

М а к с : Конечно, не вижу никаких препятствий. У Адама, насколько я знаю, всегда была такая привычка: его мастерская открыта для всех. Тогда как сам он — не любитель выставляться.

Б о г о с л о в : Очень вам признателен.

Удаляется вместе с матерью в глубь помещения, там они начинают рассматривать картины, обмениваясь иногда шепотом несколькими словами. На переднем плане продолжается разговор.

М а к с : Итак, повторяю: зачатки новые и моему пытливому уму недоступные.

Е ж и : В самом деле, новые?

М а к с : Повторяю: для меня — да.

Е ж и : Они могли бы быть в нем и раньше, только не так явно, а потому особого сопротивления для вас и не возникало. Вам легко удалось проникнуть в душу хоть и столь сложного человека, но дышащего тем же, чем и вы, и вы проходили сквозь него...

М а к с : А теперь?

Е ж и : Всё то, что еще совсем недавно не проступало в нем так явно, а как бы было скрыто в его собственно человеческом начале, внезапно разрослось или, говоря иначе, разлилось, словно тень планеты по луне.

С т а н и с л а в : И на твоей, Макс, взгляд, с твоим зорким и безошибочным чутьем художника, вдруг оказалось затмением?

М а к с : ... быть может...

Е ж и (*возвращаясь к своим выводам*): Только, пожалуйста, не придумывайте никаких мировых переворотов. Ни в коем случае. Это должно было жить в нём давно. В человеке живет всё. Нужны лишь силы — высвободить доселе неведомое.

М а к с : Откуда берутся эти силы?

Л ю ц и а н : Знать бы. Я долго присматривался к подобным вещам, долго искал их в разных людях. Увы, не знаю.

Разговор ненадолго прерывается. Одни задумались, другие перестали обсуждать тему с видимым облегчением. Но и те, и другие рассеянно, особо не вглядываясь, скользят взором по ближайшей к ним картине. К ней же подходят и Богослов с Пожилой дамой. Они стоят сейчас так близко, что легко могут расслышать некоторые из тех замечаний, которыми они обмениваются между собой.

П о ж и л а я д а м а : Нет, не нахожу здесь того детского, почти наивного обращения к Богу, какое есть у прерафаэлитов, у Перуджино или у Фра Филиппо... Всё скорее вымученное...

Б о г о с л о в : Пусть так, но, мама, надо же учесть, что его отделяют от тех художников не только четыре-пять веков истории, но еще и мощное колебание мысли.

П о ж и л а я д а м а : Да... Но, кроме прочего, всё это завершится каким-то странным образом. Даже, кажется, видно, как что-то им движет, переполняет его, но определить, что это такое, еще

труднее. Меланхолия ли какая или поистине что-то сверхъестественное?

Б о г о с л о в : Прошу вас, присмотритесь хотя бы к этому Христу... Разумеется, написан он в чрезвычайно сдержанной манере, но не думаете ли вы, мама, что во многих отношениях это тем более ценно? Ибо раскрывает перед нами огромное напряжение художника. В этом есть своя мощь.

П о ж и л а я д а м а : Разумеется, Казимир. Сразу видно, что ты иезуит. Но ведь и те художники не так-то легки для восприятия.

Б о г о с л о в : О, безусловно, да и многое давалось им куда легче. Сегодня, вы только представьте, мама, какие надо преодолеть преграды человеку, который ищет так, как он. Потому-то я и сказал, что кроме нескольких веков истории, если сравнивать, необходимо еще учитывать и это мощное колебание мысли.

П о ж и л а я д а м а : И всё же... там всё это было осязаемо и очевидно. Здесь же, как бы тебе сказать... речь идет не о том, что всё обретает ценность в результате личного переживания художника, а о том, что переживание это создает гораздо больше, чем само явление.

В это время среди задумчиво стоящих мужчин раздаются обычные в таких случаях реплики.

Е ж и : Ну, так что же сулит выставка?

С т а н и с л а в : Сотрут в порошок, наверное. Макс обещал мне это со всей определенностью.

М а к с : Всенепременно!

Л ю ц и а н : Не принимайте близко к сердцу. Я и сам столько раз поддевал Адама, а ведь он мой близкий друг. Без этого жизнь стала бы скучной.

С т а н и с л а в : Что верно, то верно.

Двери резко распахиваются.

А д а м (*говорит, стоя еще в дверях, кому-то по ту сторону*): Ну вот, мы на месте. Хорошо запомнили? Номер дома. Этаж. Квартира. Можете прийти сегодня вечером. Будет где переночевать.

М а к с (*обращается к окружающим*): Истории эти всё учащаются.

Всё реже тут мастерская для художника и всё чаще — ночлежка для нищих.

Адам медленно закрыл дверь. Поворачивается к людям, находящимся в правом углу комнаты. В это время Богослов с Пожилой дамой так далеко отошли в противоположную сторону, что Адам мог их не узнать или не заметить. Богослов тотчас же слегка кланяется Адаму, но, незамеченный, возвращается к рассматриванию картин, дав возможность Адаму заняться друзьями, стоящими справа.

Б о г о с л о в : Вот он, пан Хмелёвский.

П о ж и л а я д а м а : Тогда... может быть...

Б о г о с л о в : Лучше немного погода.

А д а м (*быстро идет к друзьям*): Здравствуйте!

Он заметно возбужден.

М а к с : Не узнаешь новых гостей?

А д а м : В самом деле. Станислав! Можно было догадаться, что ты на днях появишься. (*Почти индифферентно*): Что в Мюнхене?

С т а н и с л а в : Тебе привет от Христиана.

А д а м : Еще меня помнит... Это хорошо.

Разговор почти прерывается.

А д а м (*оживляясь, поддерживает беседу*): Ко мне никто не приходил?

М а к с : Ты о ком?

А д а м : Ну, ты его должен знать. Да нет же, в самом деле. Из вас никто его не знает. Значит, не приходил мужчина лет сорока? Одетый в черное...

М а к с : Нет, никого такого не было. Ах, да, была пани Хелена с мужем.

А д а м : Правда?

М а к с : Они вот-вот вернутся. А потом был курьер из Городского совета. Принес для тебя какое-то письмо. (*Указывает на стол. Адам стремительно разрывает конверт, читает.*) Еще (*Макс бьет себя ладонью по лбу*) — в мастерской у тебя гости, пришли выразить восхищение твоим творчеством.

Богослов на этот раз кивает головой более определенно. Его мать кланяется тоже.

Б о г о с л о в : Здравствуйте, господин Адам. Простите, что вторглись в мастерскую в ваше отсутствие. Но моя мать мечтала познакомиться с вашим творчеством.

Чувствуется, что Адама оторвали от письма, как от чего-то для него чрезвычайно важного, он быстро встает и делает навстречу им несколько шагов.

А д а м : Приветствую вас. Очень признателен за внимание к моему скромному творчеству, хотя в нем нет ничего значительного, ни одной законченной картины. Относитесь к этому, как к эскизам — не более того.

П о ж и л а я д а м а : Так для нас еще интереснее.

А д а м : Благодарю вас.

П о ж и л а я д а м а : Надеюсь, мы вам не помешали. Вы позволите нам закончить осмотр?

А д а м : Разумеется. Очень польщен. *(Возвращается на прежнее место. Быстро читает.)* Хорошо, это из отдела обеспечения. Но, простите меня, всё это смахивает на издевательство. В этой норе губят себя, а точнее, продолжают ежедневно губить себя десятки новых людей. Я подчеркиваю: всякий раз это новые, ведь большинство постояльцев меняется каждый день. Старожилы — это только костяк. Да и тех там немного. Они полностью завладели положением, а все остальные, кто время от времени там появляется, оказываются под их соответствующим влиянием. И такими вот они отправляются в мир. Что с ними происходит? Куда расплзается и распространяется эта толпа обездоленных? Никого, конечно, это не интересует. Начальник обеспечения пишет мне, что ночлежка — всё, что в настоящий момент может сделать город.

Помяните мое слово, толпа эта взорвется... Ведь, покинув ночлежку, они не становятся ни богаче, ни лучше.

Е ж и : А что предлагаете вы?

А д а м *(продолжает свою мысль)*: Общество не знает, что в себе носит. Общество — как больной организм. Но есть большое различие: больной организм должен это выявить быстро, иначе ему не

дотянуть и он принужден будет сдаться, тогда как общество способно долго скрывать свою болезнь. А если точнее — способно скрываться от болезни. Да. Мы прячемся, убегаем на крошечные островки достатка, так называемых дружеских связей, так называемой социальной системы, чувствуя себя за всем этим в полной безопасности. Но в то же время все не так. Эта безопасность — большая ложь, иллюзия. Эта безопасность завязывает нам глаза и затыкает уши. Но всё это в конце концов вдребезги разлетится.

Е ж и : В каком-то смысле мы ждем этого дольше, чем сами живем на свете. Впрочем, повторю вопрос: а что можете сделать вы?

А д а м (*будто не слышит его*): У каждого из нас свой путь. Каждый выет свое гнездо. А между тем столько людей, пути которых слишком узки. Им даже негде ступить. Нет кусочка земли, который они могли бы назвать своим. Нет куска хлеба, заработанного своими руками. Нет ребенка, которому могли бы дать жизнь, не думая о том, что он станет обузой. А мы во всем этом копошимся, уповая на силу какого-то всеобщего порядка, который заставляет нас молчать о вещах вопиющих и умирять праведный взрыв. Нет, нет. Всем нам чего-то не хватает. Не знаю пока, чего. Мучаюсь над разгадкой. Одно знаю твердо: чего-то не хватает и знаю, что будет не хватать все больше.

Входят пани Хелена с мужем.

П а н и Х е л е н а : А вот и пан Адам. (*Максу и Люциану*): Ну, как? Выяснили, наконец, кто он такой — человек неразменный?

М а к с : Вовсе не выяснили. Но зато сам этот человек взял да и явился сюда и битый час пытается страшить нас своими идеями о человечестве, которому грозит гибель, начиная с корней.

А д а м : Не угодно ли присесть? (*Быстро говорит Макс*): Это не точно, Макс. Человечество начинает портиться вовсе не от корня. Оно, скорее, похоже на дерево с обглоданной корой. Не станешь же ты утверждать, что по степени нищеты и степень наказания. И что существует справедливое наказание.

М а к с : В конце концов, прости меня... но, в конце концов, я не в состоянии формировать жизнь и судьбу другого человека.

А д а м : То есть: пойду своей дорогой, буду вить свое гнездо, ис-

пользуя внешнюю вроде бы безопасность общественного уклада. А если этот уклад рухнет, а если я случайно окажусь на самом дне, что тогда?

М а к с : Ты неправильно понимаешь, что такое общество. По-твоему, оно развивается за счет постоянных перемен и переворотов. Индивидуум же в этом обществе — словно частичка, которая всё время меняется, движется и вертится. Я с этим не согласен. Индивидуум создает себя сам и как индивидуум входит в общество. Прежде всего индивидуальна его задача. Призвание прежде всего индивидуально. Ответственность индивидуальна. И общество зависит от того, сможет ли индивидуум выполнить свою задачу, осуществить свои призвание и ответственность, или же он все это провалит. Если да, общество будет состоять из числа более или менее стоящих индивидуумов и само будет благодаря этому чего-то стоить. Если же нет, всё больше станет ночлежек и приютов, которые, конечно же, явление антисоциальное. Центр притяжения бедолаг и лодырей.

А д а м : В том, что ты сказал, есть огромная доля истины. Лишь одним ты пренебрег, Макс. Что для всего этого можешь сделать ты, что должен сделать я, что должен сделать Стас, что должна сделать пани Хелена? — Прошу прощения.

М а к с : Но именно об этом я уже и сказал. Я должен выполнять свою задачу, должен создавать ценности. Создавать ценности из тех ресурсов, которые заключает в себе жизнь. А поскольку они прежде всего находятся во мне, я должен наглухо замкнуться. В противном случае я растеряю то, чем владею. А вот такая позиция и была бы антисоциальной.

А д а м : Долгие годы я рассуждал подобным образом. Даже месяца два назад. Но вижу теперь, что меня это не устраивает. Мы не должны допускать, чтобы за пределами нашей жизни по ночлежкам ютились массы обездоленных, ведя скотский образ жизни, медленно изгоняя из себя всякое ощущение, кроме чувства голода и страха. Нет и нет.

Е ж и : Так что же можете предложить вы? Господа, обратите внимание, наш разговор переходит на стезю, где нам пригодился бы богослов. Прошу вас, отец, не могли бы вы присоединиться к нашей беседе?

Создается сложное положение. Адам стоит перед крепко запертыми дверьми. Захлопнутыми. Хуже того — любая попытка открыть их встречает беспощадное сопротивление. Адам же рвется непременно внутрь. Он делает это со свойственным ему упорством. Сопротивление придает ему необходимую силу. Но сопротивление может иссякнуть. И тогда мне станет за Адама страшно. С другой стороны, я не могу полностью согласиться и с Максом...

Макс: Вот именно. Так, как ты, думает и поступает великое множество людей. Можно даже сказать, что все люди вообще или думают, как ты, или ютятся по ночлежкам. И именно благодаря этому тот переворот, который, Адаму кажется, вот-вот наступит, и не происходит. И так длится веками, хотя, по крайней мере, лет сто назад он должен был бы уже произойти.

И что же? Выходит, это нас вполне устраивает. Так нам удобнее. Вот почему у нас есть право смотреть на мир подобным образом.

С другой стороны, число людей, рассуждающих как Адам, невелико. К счастью. Такие люди, которым не терпится всё осуждать, при всём своем личном благородстве попустительствуют переворотам. А перевороты — это, скорее, явление антисоциальное.

Богослов: Я постарался понять, господа, о чем тут у вас идет речь. Должен признать, что благодаря этому человечество пошло вперед, а не назад. Разбредось, точно отступающее и сильно поредевшее войско.

Люциан: А не слишком ли далеко, однако, вы зашли?

Богослов: Тем более что разница во взглядах обоих господ, в сущности, не так уж и велика: чтоб ее почувствовать, требуется приглядеться к ней попристальней.

Адам: Всё это совершенно не меняет сути. Дело в том, что Макс абсолютно в себе уверен, абсолютно убежден в правильности своей позиции.

Тогда как я... с некоторых пор... преодолеть это не в состоянии.

Стук в дверь.

Адам: Войдите! А, это вы! Я уже о вас спрашивал.

Входит никому не известный человек.

А д а м : Вот это мои друзья, отец Казимир, пани...

Н и к о м у н е и з в е с т н ы й ч е л о в е к (*издали кивает головой*): Разрешите мне посмотреть ваши картины.

А д а м : Как вам будет угодно. (*Возвращаясь к прерванному разговору*): Не могу преодолеть это... даже, кажется, более того — глубоко в этом убежден, всё это вместе не что иное, как сплошное бегство...

С т а н и с л а в : Бегство?

А д а м : Вот именно. Бегство.

С т а н и с л а в : От кого?

А д а м : В определенном смысле от себя самого. Нет, не то. (*Сосредоточенно.*) Вот хотя бы Макс: он всегда с самим собой в ладу, а ведь Макс живет в том же мире, что и я, и каждый из нас. Но Макс никуда не надо убегать, он не чувствует, что его преследуют... А потому для него это и не является... бегством от самого себя.

М а к с : Предположим. Ну а вдруг это бегство от ответственности?

А ? Но мне интересно, каким образом я могу отвечать за гражданина, который погубил свою жизнь и теперь оказался на дне?

А д а м : Ты продолжаешь считать, Макс, что по человеческой нищете и наказание...

Ладно, неважно... Только это никак не бегство от ответственности. Это бегство от чего-то или даже от кого-то в себе самом и от кого-то во всех этих людях.

Б о г о с л о в : Как вы сказали? От кого-то в себе и в них?

А д а м : Да. И бегство это — ужасно мучительно. Всё, что я пытался делать до сих пор, было исключительно для маскировки. А потому бегство мучительно. Во мне стало постоянно открываться что-то еще, что раньше было спрятано, что раньше хранилось во мне, но я не подозревал об этом.

В определенный момент оно становится светом и принуждает к действию. А я все время убегаю.

Я чувствую, что должен перейти в наступление.

Однако тогда необходимо полностью изменить...

Б о г о с л о в : Итак, это постепенное просветление, а потом — какое-то давление.

А д а м (*сосредоточенно*): Да — можно сказать и так. Постепенное просветление — и давление. Но этот свет причиняет боль. И с каждым разом боль всё усиливается.

Б о г о с л о в : А вы от нее защищаетесь?..

А д а м : Разве я знаю, что защищать? Я защищаю право видеть мир по-своему. Не так, например, как Макс или большинство людей. Верно, Ежи? За пару грошей, за золотый здесь, золотый там получить право на то, чтобы спокойно отгородиться от всех перемен, всего напряжения. Оторваться от них. Безмятежно стоять у мольберта... За золотый здесь... за золотый там... право на ограничение всех переворотов мира одним своим взглядом, видением художника...

А из всего этого — ничего. Потому что опять вспыхнет какой-то свет — и надо бежать. И так снова и снова. Просветление — и давление.

П о ж и л а я д а м а (*шепотом сыну*): Я же говорила тебе, Казимир, это хорошо видно на его картинах.

Б о г о с л о в (*самому себе, но больше Адаму*): Возможно, это призвание.

А д а м : К чему?

Б о г о с л о в : Не знаю, но вы должны продолжать свое бегство.

А д а м : Вы полагаете? (*Словно очнувшись*.) Нет, нет. Извините меня... Как можно заставлять других заниматься только собою? Нет. Я решительно злоупотребил вашим вниманием.

А... так о чем мы говорили... Но ведь... Да, Макс, ты, безусловно, прав, но, видишь ли, не каждый способен рассуждать как ты.

М а к с : Я считаю, ты должен рисовать, Адам, любой ценой. Должен сделать над собой усилие.

А д а м : Для этого надо бы еще верить в искусство так, как веришь ты!

М а к с : А ты что?.. Может, думаешь, что избавишься от него? Думаешь, что вся эта возня с побирושками закончится иначе, чем несколькими новыми полотнами, которые будут такими интересными, такими проникновенными, произведут огромное впечатление и станут новым этапом творчества?.. Вот и всё!

П а н и Х е л е н а : И тогда, Адам, всем станет ясно, сколь плодотворными были те мучения, что изводят вас месяцами!

Л ю ц и а н : Боюсь, вы ошибаетесь.

А д а м : Я тоже...

П а н и Х е л е н а : А я уверена, что нет. Тогда только всё это обретает значение, обретает ценность. Затем это переживание переплавляется в наше призвание. А в итоге мы делимся этим с другими, погружая их, если можно так сказать, в поток прекрасного...

Е ж и : ... который течет через нас... Мне позволено завершить мысль поэта?

П а н и Х е л е н а : Поэт ошибался. И я свидетельствую против него. Всей жизнью свидетельствую и всем творчеством.

А д а м : И то и другое — цена непомерная. Но вот в данном случае, вы меня извините, цена эта невелика.

П а н и Х е л е н а : Невелика? В каком смысле?

А д а м : Да, невелика. То есть, видите ли, не всё покупается.

П а н и Х е л е н а : Не понимаю.

А д а м : Как бы это сказать? Вот... пожалуйста, чего вам стоит Офелия или, скажем, леди Макбет?

П а н и Х е л е н а : Чего стоит — мне?.. В определенной степени она стоит мне всей жизни. Да, но это — необыкновенный обмен и необыкновенный выкуп. Каждый раз я плачу полную стоимость и каждый раз плачу заново.

А д а м : Да, это и впрямь необыкновенный выкуп. (*Внезапно.*) Вот видите, за такую цену я не в состоянии выкупить себя...

П а н и Х е л е н а : У кого? У себя?

А д а м : Я — не один.

Молчание, все невольно замерли при последних словах.

Б о г о с л о в : Я понимаю вас. (*Матери*): Пан Адам, наверное, извинит нас за то, что мы отняли у него столько времени...

А д а м : Скорее, я — у вас.

П о ж и л а я д а м а : Что ж, пора прощаться. Желаем вам больших успехов.

А д а м : Благодарю. Благодарю стократно.

Пожилая дама и Богослов уходят.

Л ю ц и а н : Должен заметить, Адам, ты становишься знаменитым. Всё большее число людей посещает твою мастерскую.

Макс: А если включить сюда еще побирушек и бродяг, его слава окажется безграничной.

Пани Хелена: Должна вам сказать, Адам, что нас искренне восхищает ваша преданность самым несчастным.

Макс: И опять я вынужден возразить вам, пани Хелена, хоть мне это и нелегко. Но нельзя восхищаться одновременно и тем, и другим... С тех пор как Адам, говоря вашим же языком, предал себя самым несчастным, что не меньше достойно восхищения, с тех пор полотна-то стоят нетронутыми. словно перестали быть выражением его видения...

Пани Хелена: Думаю, что нет. Никому не по силам вырвать из его взгляда этого видения.

Адам: Вы правы. Бывает одного видения достаточно...

Молчит.

Пани Хелена: Почему вы не закончили последней фразы, Макс?

Макс: Потому что фразой этой ничего уже невозможно доказать. А потому повторяю: нельзя восхищаться и тем, и другим одновременно, пани Хелена.

Пани Хелена: А если оба увлечения друг друга дополняют и создают какое-то высшее единство? Так что, господи? Встретимся на выставке пана Станислава.

Станислав: Жду!

Пани Хелена с мужем уходят.

Станислав: Ты хоть знаешь, Адам, что Анджей умер?

Адам: Подчаский? Старый друг со времен восстания.

Станислав: Ничего удивительного. Анджея должна была добить эта давняя повстанческая чахотка.

Адам: Помню ту переправу через Пилицу — любой ценой добраться до опушки леса... Тогда мне ногу раздробило.

Люциан: И всё-таки, Адашь, ты мог бы быть к себе повнимательнее. Повстанческая смерть упряма. А у тебя уже далеко не богатырское здоровье. Эти твои скитания, Бог знает где, до самого вечера, да еще на голодный желудок, тебе тоже, наверное, его не прибавят. Эльжбета очень о тебе беспокоится.

А д а м : Спасибо. Ваш дом для меня всегда был родным.

Л ю ц и а н : Может, заглянешь как-нибудь на днях? Давненько ты у нас не показывался. Могли бы и вместе со Станиславом.

Ну а сейчас мы, пожалуй, пойдем, Стас. Вы просили меня, чтобы я уладил это дело в Союзе. Мы можем вступить в него сразу же.

С т а н и с л а в : С превеликим удовольствием. До завтра, Адам!

Уходят. Становится тихо. Остался лишь Незнакомец. Внешне он никак не принимал участия в предыдущем разговоре, медленно ходил от картины к картине с видом знатока.

Н е з н а к о м е ц : А вот теперь можно бы поговорить и о наших делах.

А д а м : Простите, что заставил вас так долго ждать.

Н е з н а к о м е ц : Мне это было даже на руку. Помогло завершить исследование.

А д а м : Исследование?

Н е з н а к о м е ц : Да. Извините, что возвращаюсь к недавнему разговору, свидетелем которого я здесь оказался. Правда, это не слишком-то вежливо — подслушивать разговор, в котором не участвуешь, но моя жизненная позиция по большей мере основана на подслушиваниях. Ваша, кстати, тоже.

А д а м : Не думаю.

Н е з н а к о м е ц : То есть, вы не подслушиваете чужих разговоров, как я. Но, несмотря на это, всё равно так или иначе живёте подслушиванием. Я долго думал об этом и удивлялся тому, как вам удалось услышать столько правды при вашей беспорядочной жизни? Вы для меня — большая загадка, должен вам сказать для начала.

А д а м : Совершенно не понимаю, о чем вы. Во-первых, подслушивание. Итак, допустим, что вы подслушиваете разговоры, об одном из них, который вы подслушали, мне известно. Но ведь в подобном случае трудно было бы поступить иначе, если говорящие, зная о вашем присутствии, не пожелали понизить голос. Сами допустили, что их разговор оказался подслушанным. По-моему, они и не возражали. Вы среди них никого не знаете?

Незнакомец: По имени знаю почти всех. Это люди известные. А лично — никого. В этих кругах я никогда не подслушивал.

Адам: Выходит, они сами виноваты.

Незнакомец: Тогда позвольте мне высказать одно суждение. Буду с вами откровенен. Отказываюсь от права скрывать свои мысли. И это вовсе не сантименты, а так следует из моих представлений о вас.

Адам: То есть?

Незнакомец: Забавно, насколько все, кто здесь был, ошибаются на ваш счет. Повторяю: мы непосредственно входим в систему моих принципов. Мой долг — знать, в чем заблуждаются другие, чтобы избежать их ошибки. Речь идет о таком деле, по сравнению с которым все их тревожения — ничто.

Пауза.

Не знаю, чем вы обеспокоили этого священника, думаю, его ошибка в отношении вас чисто умозрительная.

Но остальные ваши друзья хотя бы любой ценой представить ваш гнев как взрыв художнического гения.

Да-да, ведь здесь речь идет о вашем гневе. Гневу этому нет цены — он бесценный. Гнев этот и есть вашим подслушиванием, вашей интуицией, ощущением того, что тревожит массы.

Пауза.

Да, пан Адам. В массах нарастает великий, могучий, безбрежный гнев. Пока он еще только бурлит, повиснув над скрипящими основами существующих порядков, но долго так не протянется. Долго это продолжаться не может. Таково мое мнение — плод долгих и тягостных подслушиваний. Я же вам сказал, что живу этим. Мне известно, что творится в портовых доках, шахтах, огромных фабричных цехах.

И, учтите, гнев этот — праведный. Речь о том идет, чтобы он наконец вырвался, чтобы эдакая всеобщая, почти сверхчеловеческая сила вырвала его из траверсов, из насквозь прогнивших опор, над которыми он сейчас скопился.

Пауза.

И сила эта тоже растет. Что она должна сделать? Что именно? Я безмерно дорожу этим мощным действием коллективного сознания, которое зреет. Это действие требует завершения. Это действие — картина куда более величественная, чем, простите, какое-то видение художника.

Пауза.

А потому необходимо ускорить действие коллективного сознания. Понимаете, что это значит? Представляете, какой здесь простор творчеству? Для этого нужен гнев. И его надо уметь ощущать! А потому необходимо вслушиваться! Вам доступен и этот гнев, и его ощущение. Вам доступно это благодаря интуиции, таланту, гениальности.

Молчит.

А д а м (пытается что-то сказать, но с трудом подбирает отдельные слова): Не знаю... Вы переоцениваете... Не знаю... Мне кажется, вы все-таки ошибаетесь...

Н е з н а к о м е ц : Разумеется, это — первоначальное и неизбежное сопротивление. Это — порог, через который надо переступить. Вы и сами еще не до конца осознали в себе собственный гнев. *(Смеется)* Простачок Божий, не подозревающий, что он гений. Только было-то это давным-давно. Теперь нужно другое вдохновение. Диалектика истории. Улавливаете? Ладно. Будет об этом. Да, да. Это первое сопротивление, которое необходимо преодолеть.

А д а м : А вы надеетесь его преодолеть?

Н е з н а к о м е ц : Я хочу придать форму тому чудесному материалу, который находится в вас. Чувствую, что в этом мой долг. Так следует из моих предположений.

А д а м : Что ж, во мне уже борется столько сил. Попробуйте и вы...

Н е з н а к о м е ц : Для начала я отчитаю вас за картины. Это не путь...

А д а м : А...

Н е з н а к о м е ц : Не путь для выражения того гнева, который в вас бушует. Это не путь для сосредоточения сил. Распыляете себя на сантименты и настроения. Вы пытаетесь убежать от собственного гнева в переживания, в закоулки так называемой души.

Этот гнев — объективная ценность. Нельзя им разбрасываться. Вы ответственны за каждую частичку коллективного сознания, за то, созреет оно раньше или позже.

А д а м : Такого мнения я еще никогда не слышал...

Не з н а к о м е ц : Потому что никто еще не пытался проникнуть в глубину. Никому не по силам было так взглянуть и в такой перспективе.

Стук в дверь.

А д а м : Войдите! (*Входят люди в лохмотьях*). — А, это вы! Хорошо. Хорошо. Проходите в ту комнату — там всё приготовлено. Вы ели что-нибудь? Нет? Хорошо. Сейчас принесу.

Быстро проводив их, тут же возвращается. Молчит.

Не з н а к о м е ц : И за это вам выговор. Такое же разбазаривание сил! Это сгодилось бы на низших ступенях коллективного сознания. Нет, не то. Я неудачно выразился... Послужило бы к обузданию этого сознания, не позволив ему созреть раньше времени и взорваться.

А д а м (*тихо, про себя*): «Нищих всегда имеете...»

Не з н а к о м е ц : Теперь, когда коллективное сознание вызрело гневом, и с этим мы тоже покончим.

А д а м : А если это правда...

Не з н а к о м е ц : Тогда ищите точку ее искривления. Если это и есть правда, значит, она искажена.

А д а м (*глухим, сдавленным голосом*): «Нищих всегда имеете... а Меня не всегда».

Не з н а к о м е ц : Впрочем, что с того, что с того? Милосердие? Злотый — туда, злотый — сюда, чтобы спокойно владеть миллионами, вложив их в банки, леса, бумаги, став совладельцем — чего-то, не знаю чего. Вот они, зримые результаты той системы. За злотый здесь, злотый там. Точно отмерено. Высчитано.

А при этом нечеловеческий труд, по десять, двенадцать, шестнадцать часов за чертов грош, за то, что меньше, чем право на жизнь, за сомнительную надежду на успокоение там, надежду, которая ничего не изменит и которая веками копит в себе великолеп-

ный, мощный взрыв человеческого гнева — человеческого творческого гнева.

А д а м (*схватился руками за голову*): Ах, если б хоть доля справедливости в ваших словах... (*Бессильно опускается на топчан.*)

«Нищих всегда имеете, а Меня — не всегда...»

Как всё же это, однако, страшно, неужели вы не понимаете?

Действие второе

В подземельях гнева

В Адаме преломляются противоречивые мысли. Столкнувшись друг с другом, освещают его лицо, отражая на нем отпечаток услышанного. Постепенно, не сразу они преобразуют Адама, временами просто кажется, что формируют его. Но вот по его лицу как бы пробегают проблески света, и тогда нам вдруг всё больше становится ясно, что это он, сам Адам, создает из них себя. Создает постоянно. Главное сейчас для него — унять сильное волнение, выровнять нечеловеческие колебания. Это будет невероятно трудно для него. Всё, что с ним теперь происходит, хоть и происходит будто вовне, творится на самом деле внутри него. Мы всё время балансируем на грани, вдоль которой беший ритм скачущих мыслей и слов соединяется с душой Адама, укрепляясь в нем новым открытием собственного «я», новым созданием самого себя, преобразованием.

Новый Адам обнаруживается постепенно, из трепета и страха прежнего Адама. Необходимость этой перемены, а еще больше — необходимость перехода к ней — главный стержень драматургического напряжения.

Однако это вовсе не то напряжение, которое возникает между двумя противоборствующими началами, нет, это напряжение в пределах одного-единственного человека. Каждую секунду прежний Адам какой-то своей частью преобразуется в нового. Перемена эта заключает в себе и прогресс, и победы, а вместе с тем и боль. Это живая ткань драмы Адама. Люди и предметы соединяются в нем, меняясь изнутри силой сопротивления, принятой или отвергнутой, памятные и потерянные, обретенные и непризнанные. Окруженный всем этим, он

не перестает удивляться собственной судьбе. Так и должно быть, ибо благодаря этому удивлению он открывает в себе Любовь, которая действует через него.

Вот в каком пространстве разворачивается эта часть жизни Адама. Нет необходимости выискивать какое-то определенное место действия, чтобы разглядеть эволюцию Адама. Вся она целиком состоит из его отдельных воспоминаний и представлений, раздумий и увлечений, не связанных ни с каким другим единством места, кроме единства психологического пространства.

Картина первая

О городской ночлежке можно вообще не думать, можно не иметь о ней совершенно никакого понятия. Но если кто-то узнал ее, как Адам, без труда сможет представить, что творилось там в один из январских вечеров в лютый мороз. А представив это, он не только станет заложником собственной памяти и впечатлительности, но и действительно окажется среди тех, с кем всё теснее связывает его судьба. И пусть сейчас Адам еще далеко от той улицы, в мыслях он уже приблизился к тем людям, так что ему снова страшно взглянуть им в глаза, хоть он и понимает, что сделать это придется. Расстояние между ними стремительно сокращается. Пожалуй, достаточно лишь дверь толкнуть. Она легко подается, ведь под замком там охранять нечего. И тогда все эти люди предстанут перед ним непосредственно. Пока же лишь доносятся их голоса.

Г л у х о й г о л о с : Если городской совет не подкинет угля в такой жуткий мороз, пойдем крушить стекла мэру и тем господам из отдела обеспечения.

Б о д р ы й г о л о с : Вот именно. Пусть-ка узнают, что такое зубами лязгать... а еще говорят, будто ночлежка обогревается.

— Да что это даст? Всегда найдутся стекольщики вставить новые.

— Искрошим стекла во всех стекольных мастерских!

— Разбежался! Стал нищим, так умей, по крайней мере, быть им.

— Чего ты, в конце концов, хочешь? (С явной издевкой) Удобно устроился: никаких тебе обязанностей и никакой тебе ответствен-

ности. Можешь жить себе философом, хранить всё свое богатство в рваном кармане и размышлять о никчемности всего, что тебе не принадлежит.

Еще чей-то голос: Хоть бы они суп чем заправляли: вода да пара картофелин. Попробуй, выдержи в такой мороз.

— Того гляди, платить заставят!

Опять тот же голос с издевкой: Только без трепача! Вы о чем? Встанешь в девять, выспавшийся, отдохнувший. Напялишь мех на хребет и иди себе, как благородный и уважаемый всеми, постоишь пару часиков на главной улице, чтоб все на тебя насмотрелись и натешились вволю. Ну и ты со своей стороны тоже можешь поглазеть на других. Снуют, как помешанные, то туда, то сюда, а ты что? Наслаждаешься беззаботностью. Похлебаешь супчику, и назад домой, сюда то есть. Вечерком газетку считаешь, если, конечно, лампа не коптит. Чего тебе еще? Живешь себе философом!

С противоположной стороны кто-то грустным голосом говорит соседу:

— Никак не могу найти работу. Куда только не ходил. И каждый вечер возвращаюсь в эту дыру. По горло мне эти удобства. Отнесешь иногда какую посылочку, чтоб ноги с голода не протянуть. Тут гляди в оба, находятся спещы, которые так и норовят тебя согнать.

Откуда-то голос подает совет: Мог бы и с нами попробовать. Работёнка что надо, непыльная, немного, правда, нервная. Повезло — на пару месяцев рвануть можно из ночлежки и пожить, а хоть и в «Европейской». А после, коль обстоятельства изменились, вернешься в эту ночлежку, если, конечно, не куда похлеще. Чего ты хочешь? Жизнь твоя богата, разнообразна. Умей лишь устроиваться.

Кто-то еще: Ну нет! С нами пусть лучше и не пытается. Слишком глуп для такого ремесла.

— Всё подзаработать мечтает. Да на нём воду возить, а тут дельце тонкое.

— Как будто кто из нас виноват, что богатства не поделили поровну.

Г о л о с о т к у д а - т о : Подбрось чего-нибудь в печь. Одна солома никому костей не согреет.

— А что подбросить-то? Уголь, которого нет?

— Вот, сволочи. Не знают, что с углём делать.

Д р у г о й г о л о с : Главное — это расчет, господа! Главное — это расчет. Вывалили весь уголь, так теперь стучите зубами.

Е щ е ч е й - т о г о л о с : Нигде не обогреться. Ни снаружи, ни изнутри. Прямо издевательство — такая ночлежка.

— А ты бы изнутри хотел!

— А ты что, нет? (*Через мгновение*). Всегда более достойно человека, когда изнутри. Капля-другая...

— Ишь, чего захотел.

А д а м . *Дело не в том, что он вошел в ночлежку. Он уже давно среди них. Ничего не происходило среди обитателей ночлежки, чего бы не происходило в нем. Однако теперь двери поддались (без труда — в такой мороз!), и мгновенно глазам Адама предстал тот образ, которым до этого упорно жили его память и воображение. Образ мыслей Адама — то, что происходит внутри ночлежки.*

Сейчас Адам хорошо одет, весь в черном. Широкополая шляпа художника, темный галстук. В руках у него не то мешки, не то сумки.

Он подошел к ближайшей группе. Здесь начинается внутреннее пространство Адама, оно открыто навстречу этим людям и заполняется ими.

Вот реальность.

А д а м : Простите. Может, вы меня помните. Провидению было угодно, чтобы в тот вечер шел дождь, и ветер загнал меня в ваш приют. Братья, с тех пор неведомая сила словно толкает меня к вам. Я не мог сюда не вернуться. За мной неотступно шла ваша бедность, бездомность, ваш голод...

Молчание, выражающее полное равнодушие.

Я не знал, как вернуться. Искал возможности. Искал средства. И вот сегодня впервые...

К т о - т о р я д о м : Чего тебе? Негде на эту ночь притулиться, тогда давай, место есть. Никто никого не гонит, всё ничьё. Городское.

Только поторопись, могут нагрянуть еще. В такой мороз не пошляешься.

Д р у г о й г о л о с : А может, ты, браток, слегка того? Несешь такую чушь.

А д а м : Вы не поняли, чего я хочу. Я не в ночлежку жить пришел...

— Тогда проваливай куда подальше. Если не жить пришел, тогда чего ты от нас-то хочешь?

— Только те, кто здесь живет, только они имеют право на наши взгляды. Остальные — сволочи.

А д а м : Да нет же, нет. Я принес вам кое-что из еды и одежды. От хороших людей.

— А, благодетели! И ты туда же! Это что-то новенькое.

Адам начинает распаковывать мешки и сумки, вываливает их содержимое на ближайшии нары. За ним искоса наблюдают.

— И что с этим делать?

А д а м : Это — для вас.

— Для кого — для вас? Передерутся же сейчас друг с другом.

С разных сторон:

— Мне!

— Да тут пальто!

— Хлеб! С утра ни крошки не было.

— Перекусить бы!

— А тут и для сугрева имеется!

О т к у д а - т о : Добрые люди. Благодетели. *(Скрежещут зубами.)*

И з у г л а : Что за галдеж?

— Раззявился! Тут жратву принесли и тряпье.

— Кто принес?

— Да кто его знает? Вроде тронутого.

— От кого?

— От благодетелей!

— Не нуждаемся.

— От тех, кому ты сегодня стекла бить собирался.

— Раз сказал, значит сделаю. Другие обжираются, сидя в тепле, а потом, как поизносились и десяток раз напялили — нате вам, на бедность. Благодетели...

К Адаму обращается молодой человек: Не знаете ли вы что-нибудь насчет работы?

А д а м : Поищем. Приходите ко мне завтра.

— Куда?

— Баштовая, один.

— Буду утром.

— Хорошо.

Из угла громко:

— Эй, ты! Слушай, ну, добровольный благодетель, убирайся со всем этим!

Кто-то рядом с Адамом тихо: Идите-ка, господин, своей дорогой. Тут глаз колет всякий хорошо одетый. Всякий сытый.

Другой голос: Пусть о нас лучше магистратура заботится.

Еще чей-то: Не хотите ли какую побрякушку из бижутерии?

Еще один: Отвали!

Из угла настойчиво: Ну, слышь, убирайся, говорю пока по-хорошему, вот встану!.. Убирайся, покуда я еще добрый! Выметайся!

Рядом: Господин, у вас какого-нибудь пальтеца не найдется?

А д а м : Постараюсь. В следующий раз...

— Жди у моря погоды!

Еще чей-то голос: Будет тебе на следующую зиму, когда копыта отбросишь.

Тот, что в углу, встал: Предупреждаю последний раз. А вы, сброд, соображайте. Если кто вам в морду плюнет, так и это примете? Сидят себе эти прохвосты в дворцах, в тепле, балами развлекаются, угощаются, попивают ликерчики, а как им ни с того ни с сего что в башку стукнет, кинут тебе объедки. Заношенные тряпки или заплесневелый хлеб. А им еще за это кланяйся, называй благодетелями и ручку целуй.

А это всё — сплошной обман и зло. Смекаете?

Почему это он ходит в костюме и при галстукe, а мне спину прикрывать нечем? Довольно, хватит! Сгинь с глаз моих!

В углу слышится ворчание. Адам опустил глаза, молчит, как побитый.

Всё принимает на свой счет.

Пр е ж н и й г о л о с : Лучше выплюньте им то же, что они плюнули нам!

Люди уже разобрали принесенные вещи, примеряют их.

Тот, кто в углу, резко вскочил, встав посреди нар:

— Чтоб никто не притрагивался! Не поняли? Убью на месте!

Несколько человек окружили его стеной.

— Не доходит до них. Пусть всё уносит назад! Я прослежу, чтоб ни одна тряпка...

С о в с е х с т о р о н : Раскатал губу! Не отдадим!

Начинает размахивать направо и налево какой-то дубинкой.

— Ах вы, голь перекатная! Сволочи!

Кто-то около него пригибается, другой старается толкнуть его с лавки, схватили за ноги.

— И мы умеем не хуже.

У кого-то в руках оказалась палка. Начинается драка.

А д а м (потрясенный происходящим, пытается что-то произнести, руки его бессильно опускаются): Братья мои, братья. Вы неправильно меня поняли.

(*Еще громче*) Неправильно меня поняли.

К р и к с в е р х у : Вон! Вон!

Адам выбегает, бросив всё в беспорядке. Теперь он один, лишь внутри у него по-прежнему жива картина потасовки и шума. Он слышит биение своего сердца, ощущает тяжесть в затылке. Боль разрывает его на части, усиливая чувство беспомощности.

Картина вторая

В этот момент при свете фонаря, стоящего неподалеку, тень Адама словно отделяется от его фигуры. Адам воспринимает это как присутствие постороннего. Чувствует, что он не один. Между ним и тем, кто появился, начинается беседа, она протекает напряженно, и остается неясно, то ли Адам говорит с самим собой, то ли и впрямь с кем-то посторонним.

« П о с т о р о н н и й » : Не так-то это легко — отделить собственные мысли от тех, что приходят извне.

« А д а м » : Это значит...

— Это значит... что в иных случаях следует считать их плодом собственных размышлений, а не искать причин их возникновения в каких-то там обстоятельствах.

— Разве может кто-то другой так плотно вложить свои мысли в наши мозги, что и зазора не разглядеть между нашим разумом и подsunутой нам идеей? Зазор — или разрыв...

— Уверяю тебя, что нет. Рассуждения твои — самые правильные на свете.

— И к чему они ведут?

— К недооценке сил.

— Как это?

— К отказу от сумасшедших начинаний.

— А еще к чему?

— К отступлению!

— Видишь ли, всё это имеет смысл лишь постольку поскольку. И незачем сваливать на злую волю, на сопротивление. Всё останется таким, каким хочет быть. И вины твоей в этом нет.

— Рассуждения твои — самые верные на свете.

— Вижу, что имею дело с человеком благоразумным, на сверхчеловеческое не претендующим.

— Благодаря столь верным — твоим — рассуждениям мы всё ниже опускаемся на дно. Но сперва: что значит «твоим», если я и вправду не знаю, где «твоё», а где «моё». И потом, «твоё» — значит, чье-то? А ведь тут никого нет.

На заднем плане Некто бессильно прислонился к фонарю.

— Разумеется. Не забивай ты себе этим голову. Мысли так: прежде всего я — не кариатида земного шара. Я — человек думающий, задача которого — создавать собственную картину мира, совершенно не заботясь при этом об остальных.

Мысли так! Ты — тоже человек думающий, а потому подпадаешь под их законы. Хватит с тебя того, что запечатлеваешь в своей идее картину мира. Ты совершенно не обязан подставлять под его громоздкий остов еще и свои хилые плечи. Они и без того натружены.

— И впрямь не знаю, мои ли это мысли, или мне кто их подсказывает?

— Обременять не стану. Будь самим собой. Заверши начатые работы, потом устрой выставку. На что ты годеи еще? Ладно, мой тебе совет: никогда не возвращайся в ночлежку, если не хочешь навредить...

— Кому?

— Освобождению тех людей. Надо ждать. Это должно совершаться медленно, изнутри. Само должно среди них возникнуть. И созреть. А ты уж, поди, готов тащить туда весь тот вздор, который им чужд.

— Например?

— Например, заставишь их молиться. Разве нет? Трудиться, крест так называемый нести.

— И что?

— Видишь ли, не о том речь. Им надо по-человечески созреть.

— А ты, выходит, умеешь высказывать мысли, созвучные моим. Опять ничего не могу понять... Так, стало быть, человеческая зрелость — что это значит?

— Это — то, что определяется условиями человеческого бытия.

— Однако ты всё же пытаешься некоторые моменты обойти. Это начинает меня удивлять.

— Ты сумасшедший, вот я и должен за тебя иметь и рассудок, и чувство меры.

— И опять я готов поверить, что ты — это я.

— Ну конечно.

— Такое чувство, будто я разделен между тобой и тем, кто всё время меня на что-то подвигает и заставляет хотеть чего-то большего.

— Приблизительно. Я всего лишь центр равновесия твоего «я»...

Адам проходит мимо человека, бессильно прислонившегося к фонарю.

— ... который сейчас требует, чтобы я спросил того человека (*громко спрашивает*): «Почему ты здесь стоишь?»

— Да тише ты! Не буди его.

— Он спит? Да, он совершенно изможден и от измождения... (*Прерывает себя.*) И потом, в нем есть некто больший, чем просто бродяга, прислонившийся к фонарю.

— Разве? Никогда бы не подумал.

— Вот именно. В нем есть образ.

— Ах да, у тебя же образное мышление. Ты же художник.

— Но образ — не художественный. Образ, который зрением не уловить, но который давно разрывает мне душу.

— Не поддавайся! Отступи! Забудь!

А д а м (*будто не слышит*): Образ и подобие.

— Подобие? Чье?

— Не знаешь будто! Так, значит, есть в моем мышлении область, которой у тебя нет. Так ты, значит, не являешься плодом моего ума, как моя собственная мысль. Ха! Я тебя открыл благодаря этому образу и подобию, а ты его не хочешь знать, хотя тебе известно...

Подожди! Образ и подобие... Видишь: он дитя, он является сыном. Я — тоже... Ты...

— Я — нет! Никогда!

— Нет? Тогда огромное зеркало мира отражает одну пустоту в тебе, тусклую, ничем не освещенную пустоту твоего бытия.

— Говорю же тебе, я человек мыслящий. Мне этого достаточно. Тебе тоже.

— Всё стремишься меня убедить, да факты упрямы. Вон видишь того человека, что прислонился к фонарному столбу?

— Мой разум им больше не интересуется. Он перестал представлять для меня проблему. Могу его обойти.

— Как же многого в тебе еще не хватает! Как же многого недостает!

Теперь с противоположной стороны от Адама начинается расплываться ровный, непрерывный мрак улицы. Адам миновал свет фонаря с той стороны, откуда падала от него тень. «Того» не было. Адам взваливает на плечи бродягу, несет его, всё сильнее хромя на правую ногу.

— Ну, давай, друг! Молчишь? Руки... ой, замёрзли совсем. Не можешь идти... Ну, пошли!

Почти тащит его на себе.

— Ну, иди же! Ты меня спас!

Картина третья

Адам и портрет Человека. Человека-Христа. «Ессе Ното». Не этот ли образ должен был возникнуть в его душе под влиянием увиденного — опустившихся людей? Судьба образа и судьба человека. Адам — художник. На полу лежат краски и кисти. Происходящее с ним — вновь в его внутреннем мире.

— Ты всегда глубже, чем в моем представлении. И всегда дальше. Вытащить Тебя из моих видений не получается. А это значит... это значит...

Неужели нет ничего общего у Тебя с тем, кого ношу я в своем воображении, с тем, кого понимаю всей душой?

Портрет молчит.

— Но почему? Почему? Скажи, что я еще могу сделать для них ради Тебя?

Как можно спрашивать об этом Тебя, Который не знает границ! А я, я... вечно ищу предел того, что постигаю без всяких контуров, ищу отпечатка того, что ношу в себе, не чувствуя тяжести.

И получается, что отпечаток, сделанный мною, и контур, нанесенный мною, не передают Твой Образ и Твою Красоту.

Но они есть!!!

Как мешают убеждения и как должен измениться взгляд!

Помоги мне прозреть!

Я больше так не могу. Я не могу. И вдобавок ко всему я им не нужен. Совершенно не нужен. Скажи, как мне из этого выбраться?

Я им не нужен. Да. Я в этом убежден. Но почему же я не могу убедить в этом Тебя?

Скажи мне Сам, что будет со мной, какой от меня будет прок, если Ты отринешь мой образ, а они отринут меня?

А-а-а... Ты — в моих мыслях. Говоришь в них, — тишина, тсс!.. Минута чудесная и опасная. Тихо, тсс!... тсс!..

— Столько людей на свете стремилось к тому, чтобы преодолеть этот миг. Их привлекало его очарование. Сумею ли я?

А ведь... Да, да... Я должен всего лишиться, всего, что потеряю. Что утрачу. От чего избавлюсь. Да, да.

Но скажи, разве можешь Ты требовать этого от человека? Разве можешь Ты требовать этого от меня? Как мне перестать быть тем, кто я есть?

Адам вновь начинает рисовать — с вдохновением. Так продолжается некоторое время. Затем вновь начинает говорить:

— Ты должен принять этот образ — ради меня.

Образ, который я постиг всей душой, и эти пятна красок на полотне — и Ты в стольких людях — это одно и то же.

(С усилием) Одно и то же!

(На шаг отступает) Вот так Ты останешься для многих, многих людей.

(Отходит еще на один шаг) Что в этом плохого? Разве Ты можешь быть против этого?

(Еще дальше) Нет и еще раз нет.

(Наступил перелом) Но это — не Ты!

Ты — чужой.

Ты — далекий.

Всё более чужой Тому, Кого я знаю.

Я перестаю Тебя видеть.

И в то же время вижу Тебя гораздо яснее.

Как это может быть?

Снова всматривается в картину:

— Но это — не Ты!

Значит, это неправда, что удалось мне запечатлеть Тебя для
стольких людей.

И для стольких душ!

*Откладывает палитру и кисть, подходит к окну, смотрит
на Вислу.*

К т о - т о в о ш е д ш и й : Опять смотришь? Не пишешь.

А д а м (*не поворачивая головы*): А, это ты, Макс?

Картина четвертая

Исповедь Адама

*Лицо священника прикрыто ладонью. Едва можно разглядеть
в темноте блеск его глаз. А может, он их закрыл. Обе фигуры — испо-
ведующегося и исповедника — едва различимы в сумраке уходящего дня.
Вместе с шепотом обоих всё создает удивительную гармонию.*

С в я щ е н н и к : В чем бы ты еще хотел признаться, сын мой?

Адам молчит.

С в я щ е н н и к : Может, тебя мучают какие-либо искушения или
что-то беспокоит?

А д а м : Да. Самое большое мое искушение — считать, что рассу-
дом всё-таки можно любить. Одним рассудком. И что этого вполне
достаточно.

С в я щ е н н и к : Как ты это понимаешь?

А д а м : Я вижу в этом единственную возможность освободиться
от всех тех вопросов, которыми я так долго Вас утомляю.

С в я щ е н н и к : Постой, брат мой. Погоди. В том, что ты сейчас
сказал, слишком много отречения. Я бы, пожалуй, с этим согласи-
лся, не будь ощущения, что за этим скрывается еще большее беспо-
койство.

А д а м : Как же быть, отец мой? Ведь я вижу, что я им не нужен,
а Богу не нужна моя живопись.

С в я щ е н н и к : Ошибаешься, брат мой. И они в тебе нуждаются,

и Господь Бог по-отечески взирает на твоё творчество. Ведь оно приближает тебя к Нему. Ведь ты через своё творчество стремишься воздать Ему хвалу.

А д а м : Вот именно. Но тогда объясните, как так получается: у меня есть твердое убеждение и вроде бы никаких сомнений, но где-то из глубины, почти с самого дна, что-то поднимается и разрушает мою уверенность. Разрушает дотла.

Что же тогда от нас остаётся? Что же тогда мы можем предъявить Богу? Одну лишь отверженность?

С в я щ е н н и к : Ты прав. Тогда от нас не останется ничего. Тогда от нас самих не останется ничего. Но вот тогда, именно тогда то, что сохранится в нас, и будет исключительно Божией благодатью.

А д а м : А разве Божия благодать не связана с сыновним чувством? Неужели она может существовать в нас вместе с осознанием лишения наследства?

С в я щ е н н и к : Да. И это показалось бы неправдоподобным, не будь одного факта. Помнишь, брат, «Боже мой, Боже мой! для чего Ты Меня оставил?» «Отче мой, если возможно, да минует Меня час сия...» А ведь Он был Сыном, а не усыновлённым. (*Молчит, буд-то подыскивает слова.*) Но это случилось именно в ту минуту, когда Он вновь обретал отверженных сыновей. Это был именно тот миг.

А д а м : Нет, я не смогу. Не справлюсь. Раз я им вообще не нужен, если в том, чтобы быть среди них, нет никакого смысла... если я, такой, как я есть, не могу среди них просто остаться, то как же я, как же тогда я могу быть средством для обретения в них сыновей?..

С в я щ е н н и к : Одно вовсе не следует из другого. Кто знает, может, самое главное — как раз твоя отверженность среди них?

А д а м : Но в таком случае они лишают меня права рисовать, творить.

С в я щ е н н и к : Не совсем так.

А д а м : Отец мой, поймите, я не могу любить одновременно и то и другое: потому что не умею любить наполовину. Здесь передо мной две пучины, и обе затягивают. Нельзя постоянно находиться на перекрестке двух дорог.

С в я щ е н н и к : Почему ты смотришь на это только таким образом? Бога любить можно всегда.

А д а м : Так говорят все. Но почему тогда всеми признанная истина не становится и моей тоже?

С в я щ е н н и к : Не знаю. У каждой души множество граней, существуют разные способы очищения.

А д а м : Вот именно. Я стал вдруг обнаруживать изъян в том, что раньше мне представлялось идеалом.

С в я щ е н н и к : Вполне возможно. Очищение необходимо для того, чтобы призвание исполнилось.

А д а м : Что же в таком случае вы мне посоветуете?

С в я щ е н н и к : Позволь любви действовать в тебе.

А д а м : Но как?

С в я щ е н н и к : Не знаю. Твоя любовь принадлежит тебе. Это благо, которым ты наделен. Я не могу судить о твоей любви со всеми ее оттенками.

А д а м : А если бы я пожелал превозмочь? Приказать ей что-то или запретить, отвергнуть её или признать?

С в я щ е н н и к : Слишком это большое дело и слишком серьезное. Любви не прикажешь. Задумайся над этим. Господь наш Своей любовью совершает столько добра, великого блага. А любовь соединяет нас с Ним сильнее, чем что-либо иное. Потому что в ней меняется всё.

Снова замолкает, как бы в поиске слов. Наконец, находит.

(Очень тихо): Позволь любви действовать в тебе.

Адам медленно поднимается с колен, отводит от лица руки и идет, сначала неуверенным шагом, потом всё решительней. Кажется, что он минует множество улиц, переступает через множество порогов, оказавшихся у него под ногами. Идет.

Картина пятая

Открываются двери, и его опять окружает знакомая толпа обитателей ночлежки. Такое ощущение, будто они возникли вокруг Адама, как осязаемая реальность, которая до тех пор проверялась воображением, изучалась памятью. А сейчас вдруг они вырвались живыми из-под обломков длящегося противоборства между сердцем и волей.

Те же люди будто разбросаны в мрачном пространстве. Вскоре один из них заметил Адама и сказал об этом соседу:

— Эй, опять тот явился.

— А, ему еще не надоело

— Кажется, было достаточно.

А д а м (*последней фразой высказывает мысль, обобщающую предыдущие*): Верно, мне было достаточно. Но недостаточно Ему!

Это — заключительная мысль, и отныне должны прийти слова, но кажется, что слова начинают возникать совсем в другом месте — не там, где прозвучала его последняя мысль.

А д а м (*громко*): Братья мои, примете ли вы меня сегодня? Мне снова удалось кое-что для вас раздобыть.

— Ладно, давай.

— А пальто для меня найдется?

— Помните то, что я просил?

— Сегодня вы можете спокойно делать что хотите: того Виктора нет. То, что произошло — его рук дело. Вряд ли кто-то без него на такое бы решился. Да вот его уже и полиция ищет...

К Адаму приближаются и другие обитатели.

— А для того Стефка, похоже, вы что-то нашли. Не возвращается уже больше в ночлежку.

А д а м : Да, да. В самом деле.

— Мы вовсе не против того, чтобы вы сюда приходили. Чего там, понимаем, общество должно о нас заботиться.

— Ясное дело.

— Всегда удобней получить готовенькое, чем шляться за подаaniem. Но если бы только этого хватило. А так приходится шататься по углам.

Разворачивают принесенные Адамом сумки и мешки, поднимается гвалт.

— Этот тулуп — мне.

— Еще бы, аж кости видны.

— Ты чего? Тебе же перепало пальто от старого Павальца.

Д р у г и е :

— Здесь еще какое-то барахло имеется.

— Народ! Это уж совсем обноски.

— Виктор был всё-таки прав.

К т о - т о (*Адаму*): Знаете, они говорят «прав» потому, что Виктор всегда возмущался рваньем, которое швыряют бедным. Честно сказать, они Виктора не поняли, честно сказать, он совсем не то имел в виду, понимаешь?

А д а м : Понимаю и согласен.

Г о т ж е : Ну и что?

А д а м : Я еще не достал всего, что принес.

Г о т ж е : А себе бы вы такое захотели?

А д а м : Меня уже об этом спрашивали.

Г о т ж е : А вы что?

Вокруг принесенного.

— Рубашки-то — точно из мешковины.

— А тебе из шелка подавай!

— Кто б отказался.

— Жратвы сегодня принес не густо.

— Что вы там разбираетесь, берите, что дают, не копайтесь!

— Копаться-то не в чем — вот незадача!

Г о т ж е (*не отступаясь, Адаму*): А вы — что?

А д а м : Не знаю. На то они и богатые, чтобы делиться своими благами с бедными.

Г о т ж е : Ну, это, господин хороший, нам уж из ушей лезет — нищие, нищие.

В о з л е п е р е б и р а е м ы х в е щ е й : Вот видите, господам уже надоела их доброта.

— Интересно, увидим мы здесь этого еще когда-нибудь?

Тот же (*Адаму*): Не пойму, правильно ли вы поступаете? Сегодня назвать побиружкой такого, как я или Виктор, — всё равно, что в морду нам плюнуть. Бродяжничество — не наше ремесло. Мы — жертвы порядков, системы, если угодно.

Разбирающие принесенное: Послушай, эй, господин!

— Э-э-э, да мы же очень ему признательны... что он о нас...

— Да-да, мы ничего не имеем против...

— Вот кабы вы согласились передать этим доброхотам, чтоб кое-какое барахлишко они оставляли себе. Если нищий, вовсе не значит, что должен ходить в обносках и рванье.

Тот, что разговаривал с Адамом: Ну что ты заладил, нищий, нищий!

Кто-то: А как иначе?

Тот же: Всё равно, что удавку накинули.

Кто-то: Ну, а почему бы не назвать вещи своими именами?

Другой: Коль ты такой богач, так и убирайся!

Иной: Вроде Виктора.

Тот же: Идиотничаете. Вы — набитые дураки.

Какой-то: Нашелся умник.

Тот же: Вот-вот. Набрались нищенских привычек, вот нищими и называйтесь.

Еще кто-то: А ты-то кто такой?

Тот же: А я — нет. Я пойду судиться!

Другой: И поквитаются с тобой, как с этим Виктором.

Тот же: Виктор был бандит. Всё по закону.

Еще кто-то: Можно подумать, ты — не бандит. Управа и на тебя найдется.

Адам смотрит на происходящее широко раскрытыми глазами.

Тот же: Я уж, как мог, старался убедить этого господина.

Кто-то: Он-то тут что может сделать! Приносит, что ему дают. И сам не богач.

Какой-то: Это уж точно, я знаю, как-то ночевал у него.

— Ты смотри! И переночевать пускает?

— А как же! Первого встречного оборванца.

— Ну да? Так кто же он?

К т о - т о : Ни за что не отгадаете!

— Чиновник какой или профессор?

К т о - т о : Куда там, сдавайтесь! Художник он!

— У-у-у!

Разговор прерывается.

Т о т же (Адаму): Скажи-ка нам, мил человек, что ты обо всём этом думаешь? Ведь если разок-другой принесёшь сюда всяких тряпок, это еще не значит...

Д р у г о й : Говорят же тебе, он художник.

Все в ожидании, легкое напряжение.

А д а м : Чего же, собственно, вы от меня хотите?

К т о - т о : Э-э-э, не обращай ты, пан, внимания! Тут они все — с ненасытной пастью и голодным брюхом. Им только протяни палец, так они сразу же всю руку оттяпают.

А д а м : Да, но вы явно хотите чего-то большего. Это очевидно.

— Нет, вот если бы чуть побольше еды, да каких-нибудь еще получше шмоток.

А д а м : ... Да-да, но вы хотите чего-то еще? Он хочет чего-то еще. (Пальцем указывает на своего главного собеседника.) И он... и он...

Я знаю, чего. Да, то, что вы хотите, — это правильно, это очень правильно. Именно об этом и речь, чтобы вы хотели не отщепенцами считаться, а выбраться из этого болота.

Да... Это правильно. Очень правильно.

Неожиданно раздается какой-то взрыв.

А д а м : Но почему вы требуете этого от меня? Конечно, это была бы общая развязка. Решение проблемы сообща...

Но почему от меня? Это уж слишком. Это уж слишком!

К а к а я - т о же н щ и н а : Ну, что вы? Мы же не просим у вас ничего нового. Принес, что смог. Что дадут, то и ладно!

А д а м : Нет, это, конечно, значит, что вы уже большего не хотите...

а Он... хватило одного слова. Кто из вас произнес хотя бы только слово, одну фразу... и достаточно... Я знаю, что Он хочет...

Д р у г а я же н щ и н а : Что там вам померещилось? Какой такой он?

А д а м : А ведь сам я — и это правда — хотел лишь откупиться...
Здесь какое-нибудь пальто, там — какую-нибудь буханку хлеба, ко-
го-то пустить переночевать. А это все ничего не значит... ибо ни-
щие, оборванцы и уличные попрошайки как были, так и будут!

Т о т ж е : Да поперек горла мне всё это!

А д а м : Хорошо, коли поперек горла.

Т о т ж е : Вижу, что ты понял меня.

Д р у г о й : Э, да что там! Было бы побольше тряпок!

— И побелее хлеб...

— И что-нибудь, чтобы согреться!

А д а м (*вдруг, словно завершая мысль, приходит к открытию*):
Должно возникнуть братство!

Т о т ж е : Вы так полагаете? Ха! Ну и что с того? Достаточно уж на-
болтали нам таких слов.

А д а м (*всё с большей силой в голосе*): Вы должны стать братьями!

Д р у г о й : Э-э-э, чего там. Нам бы время от времени тряпья немного.

— И чтоб целое!

— И мяса для кормёжки!

— И водки!

А д а м : Хватит! Довольно!

Т о т ж е : Попридержите язык! Уймите свой нищенский визг!

А д а м : Ведь дело в человеке...

Таким, как я...

Но который стал сыном...

Быстро выходит.

Е м у к р и ч а т в с л е д : Не забудьте в следующий раз!

— Эй, там, рубашку для меня!

— А мне...

— Да не ори ты, не видишь — он уже ушел!

— А!..

— Эй, господин...

Т о т ж е : Попридержите языки... Здесь речь о человеке... — По-
молчав. — Заткнитесь, не видите, что с ним творится?

В с е : А что?

Картина шестая

Когда Адам быстро проходил мимо того же фонаря, тень его фигуры вдруг резко отделилась и упала на белую стену стоящего поблизости дома. Минута кажется необыкновенной. Адам замедляет шаг и останавливается, задумавшись. Его мысли опять вступают в диалог. Но кого же мы можем разглядеть за пределом неотступных мыслей Адама? Может, это некий раздраженный alter ego, рассерженно за ними поспевающий? Или же всё это само составляет тот отклик, который возник в ответ на их стремление вырваться ввысь?

— А ты, однако, упрям.

— Кто-то здесь есть, кроме меня.

— Ты, однако, упрямый. Расшибешься о собственное упрямство.

Адам, не поворачивая головы, но всё-таки увлеченный каким-то подсознательным чувством, ведет весь разговор, как бы в нем не участвуя.

— Эй, хуже всего, что вновь не могу отличить себя от того, кто говорит.

— Ну, конечно, если уж разум так укрепил свои позиции...

— Но нет, ты ошибаешься!

— Ты выразился неудачно. Не говори «ты ошибаешься», а скажи: «я ошибаюсь».

— Что ж, пусть... я ошибаюсь (*неожиданный проблеск*). Ну нет, в прошлый раз тебе удалось довести проблему до самых границ познания. Сегодня эта ошибка не повторится.

— Постоянно ты путаешься в лицах, где первое, где второе...

— Сегодня ты меня не запутаешь.

— А это, например, почему?

— Потому что не сможешь всё свести в рамки разума.

— Ха-ха, отчего же?

— Потому что я позволяю действовать любви во мне.

— Ну да. Ну да. Это, впрочем, и так заметно. Нет ничего, что бы так вредило познанию... Ты знаешь, о чём я говорю. Вы называете это любовью. А для меня это — одна лишь непереносимая тяжесть, то, что мешает познанию, разрушает познание, растворяет

познание, искривляет познание, искажает познание... Понимаешь, что это значит — перечеркнуть познание. И потому вы неспособны разделить моего познания, вы его осквернили, обесчестили, замарали.

Вот видишь, и это вы называете любовью. Вы это называете любовью!

В этот миг возникает еле уловимый образ, неясный, нереальный, не существующий.

— И конечно, ты уже не в состоянии выкарабкаться.

— В самую точку попал.

— Чувствуешь? И это вы называете любовью — это вот искажение образа, извращение образа, это затуманивание, запутывание, уничтожение образа... Сожжение!

— Должен ли я считать это искушением?

(Не знаю, насколько достоверно, что Адам сжег некоторые из своих картин, чтобы стать истинно свободным и полностью освободить себя для христианского служения обездоленным.)

— Ты уже давно искушаешь сам себя и все те силы, которые тебя переполняют.

— Мне особенно хорошо известна одна Сила, которая меня переполняет. Она бесконечно превосходит меня любовью. Выдержать такого напряжения я не могу. Меня это смущает, унижает, но в то же время влечёт и позволяет развиваться...

— О, несчастный ты человек! Как ты далёк от ясности мыслей!

Адам долго и громко смеется.

— Над чем смеешься?

Продолжает смеяться. Теперь его смех — совершенно ясный и искренний, как у молодого человека. Так Адам не смеялся уже давно.

Со стороны тени, падающей от его фигуры, ощущается сопротивление. Оттуда же доносятся необычные отголоски открытого смеха Адама.

— Ну, чего ты смеешься, точно один из тех идиотов, с которыми свел знакомство?! Similis simili!..

— Допустим... Но сейчас меня так радует мысль о том, что та-

кой неудачник, как я, бездарный и хромой, может освободиться от неоспоримой власти разума, может завладеть чем-то, что не имеет отношения к разуму, чем-то, что его разоблачает, раскрывает его сущность, предаёт его...

— Повторяю: ты будто из той компании идиотов!

— Ну и пусть. Хоть такой ценой, но я избавился от тирании разума.

— И лишил себя подлинного представления о мире!

— Я нашёл образ, о котором ты понятия не имеешь!

— Ну и что?

— Ну и то, что не удастся тебе больше заморочить мне голову тем, что ты — это я и что мы с тобой — одно.

Мы с тобой безгранично разные.

Картина седьмая

После всего этого Адам устал. Целыми днями он не работает, никуда не выходит. Найти его можно сидящим в высоком кресле, в совершенном изнеможении. Но не стоит удивляться, что преобладает в нем эта странная смерть, которая является началом жизни. Не стоит удивляться ни тебе, Марьяня (Марьяня — сестра Адама, приехавшая из деревни, обеспокоенная состоянием его здоровья), ни всем вам, которые всё реже стали навещать Адама, испуганные его видимыми странностями. И потому Марьяня часто остается в мастерской наедине со своим братом. Ей хочется понять, что его мучит, и она материнским чутьём находит, как лучше его успокоить.

М а р ы н я : Думаю, Адашь, ты мог бы у нас отлично отдохнуть.

А д а м : От чего?

М а р ы н я : От картин. От избытка картин.

А д а м : Мои друзья считают, будто я вообще ничего не пишу. Впрочем, возможно, так считает только Макс... Может, мне и удастся отдохнуть.

М а р ы н я : Честно говоря, тебе бы, Адашь, здорово пошли на поль-

зу наши поля Подола... Потом поле вдруг обрывается — с колосящейся пшеницей... и открывается овраг. Внизу река. Вода в ней прозрачная, чистая. И люди у нас простые...

А д а м : Да, можно бы...

М а р ы н я : Ты мог бы ожить, оторваться от...

А д а м : Можно было бы... и тем людям... но здесь больше нищеты.

М а р ы н я : Адась, ведь я хочу тебе помочь. Мне написали, что ты пропадаешь...

А д а м : Это зависит от того...

Входит дядя Юзеф.

Д я д я Ю з е ф : Адам!

А д а м : Дядя...

М а р ы н я : Как замечательно, что вы пришли, дядя. Пытаюсь уговорить Адама, чтобы согласился хоть немного пожить у нас в Кудрыньцах.

Д я д я Ю з е ф : Это было бы замечательно, Адам, просто замечательно. Ты увидел бы мой приют для сирот.

А д а м : Да?

Д я д я Ю з е ф : Да. Деревенские дети. Сироты. С некоторых пор в этом смысл моей жизни. Впрочем, не могло быть иначе. Во всем я потерпел неудачу. А эти дети ко мне привязались, как к родному отцу.

Понимаешь, Адась, приходит время спуститься на землю. Время все выровнять. На нас столько вины... Неисполненного долга...

А д а м : Правильно. Но у меня на этот счет иное мнение...

Д я д я Ю з е ф : Ну, разумеется, Адась, я же знаю, ты художник.

А д а м : Это неважно... Вот, например, дядя, какова для вас цель подобных мероприятий?

Д я д я Ю з е ф : Что ты хочешь сказать? Совершается доброе дело. Бедняжки довольны, и я... Человек освобождается от бремени, от тяжелого бремени той или иной ответственности. Давно всё позатянулось, повыносилось. А ты теперь изводишь себя угрызениями совести...

А д а м : Точнее не скажешь. Но всё же, если бы не эти угрызения...

Неожиданно Адам ожесточился, и дядя это почувствовал.

Д я д я Ю з е ф : Чего ты добиваешься? Всё это — чисто теоретиче-

ская болтовня, мой дорогой. Эти угрызения совести — историческая необходимость...

А д а м *(тем же жестким тоном)*: Даже так?

Д я д я Ю з е ф : ... общественно-историческая...

А д а м : Вот как...

Д я д я Ю з е ф : Мой мальчик, что за ирония? Неужели ты думаешь, что твоих картин достаточно? Да за ними ты настоящей жизни не видишь. А думаешь...

А д а м : Думаю, как раз совсем наоборот. И, однако, такие мысли ни к чему хорошему меня не привели. *(Внезапно обращается к сестре)*: Это правда, Марыня, что в Кудрыньцах люди еще верят в милосердие?

М а р ы н я : Странный вопрос.

Д я д я Ю з е ф : Вот именно. Что ты этим хочешь сказать?

А д а м : Что еще есть люди, сохранившие первозданную простоту нравов.

Д я д я Ю з е ф : Как ты это понимаешь, Адам? *(В словах его некоторое раздражение.)*

А д а м : Уже никак, никак. У вас, дядя, очень доброе сердце. В конце концов, нелегко, наверное, брататься с нищими...

Д я д я Ю з е ф : С какими еще нищими?

А д а м : Ах, забыл. Речь шла о детях. Сиротах.

М а р ы н я : Ты стал страшно рассеянным, Адамь.

Д я д я Ю з е ф : Вот именно. Ну, так как? Приедешь в Кудрыньцы?

М а р ы н я : Приедет, конечно приедет.

А д а м : Я еще ничего не знаю.

Дядя Юзеф и Марыня уходят, даже не попрощавшись с Адамом.

Похоже, у них есть какое-то дело поблизости.

Адам остался один. Долгое время он сидит неподвижно в своем кресле. Потом трет лоб, откинув назад волосы, неожиданно встает. Очень медленно идет к картинам. Мимо многих из них он проходит безучастно. Наконец, «Ессе Ното». Не передает ли она лучшие всех других состояние Адама? Он останавливается перед ней и невольно склоняется, будто под тяжестью самой идеи. Поднимает глаза, задерживает взгляд на изображении. Медленно произносит:

— Нет, Ты так не похож на Того, Кто Ты на самом деле.
Сколько сил Ты потратил на каждого.
Смертельно устал.
Тебя уничтожили —
И это называется Милосердием.
Но Ты по-прежнему прекрасен.
Прекраснейший из сынов человеческих.
Красота Твоя неповторима —
И как тяжело ее постичь!
Красоту эту зовут Милосердием.

Он оборачивается и несколько минут смотрит на другие полотна. Вдруг на губах его заиграла улыбка. С улыбкой на устах он произносит:

— Удивительно, но похоже, ни одному из моих мюнхенских друзей в голову бы не пришло проверить чуткость своего восприятия художника в приюте для нищих...

Да, пожалуй, и ни одному художнику на свете.

А, может, всё-таки...

Странное дело. Очень странное.

*Картина восьмая
Сборщик пожертвований*

Улица тонет во мраке. В глубине раздаются звуки шагов по тротуару. Мерные и чеканные удары сопровождают каждый шаг. Лица идущего не видно — мешают тень дерева, закрывающая его с головы до ног, как тонкое покрывало. В этот момент из темноты — с противоположной стороны — кто-то выходит ему навстречу:

— Простите...

— В чем дело?..

— Не могли бы вы... помочь чем-нибудь... нищим из ночлежки?

Прохожий окидывает собирающего пожертвования взглядом:

— Нет.

— Извините.

Отходит в тень. Прохожий делает несколько шагов в его сторону.

— Я ведь предупреждал вас несколько месяцев назад, вы выбрали не тот путь.

Только теперь просящий поднимает глаза.

— А, это вы...

Незнакомец: Это совсем не тот путь! Он не способствует концентрации мощного коллективного гнева, но истощает его, притупляет. Битый час я растолковывал вам это, вспомните?

Адам: Отлично помню! Я, собственно, никуда и не отходил от того разговора.

Незнакомец: Так что же? Всё ведь правильно, разложено по полочкам.

Адам: О нет, друг мой, вовсе нет...

Незнакомец: Твой ответ как раз и свидетельствует, что ты насколько не изменился. Не выбрался из своих настроений и комплексов. И не дозрел до того, чтобы стать борцом...

Понимаешь, ты не взвалил на себя их стремлений, их усилий, их гнева. Не отождествил себя с ними, не растворил себя в них. Понимаешь?

Ты остался прежним. Покровителем уличных оборванцев и попрошайек с паперти. Не преодолел себя. Не дозрел до идеала свободного человека! *(Пауза.)* Зла не хватает. Я полагал, что ты дозреешь, на ум твой рассчитывал. Разумный и порядочный человек не может относиться к этим вещам иначе, чем я.

Адам: Это верно, только ты тогда собирался заняться формированием во мне этого сырья.

Незнакомец: А между тем победили сантименты. Жаль. Не доглядел.

Адам: Зато кое-кто другой позаботился.

Незнакомец: Ничтожные результаты.

Адам: Никогда ничего не известно. Но скорее всего — да.

Незнакомец: Оставьте вы этот потупленный взор со смиренно склонённой головой. Я этим сыт по горло. Да и они тоже. Ты это понимаешь?

Адам молчит.

... Пойду от греха подальше, чувствую, как гнев во мне закипает. Ведь я же говорил о той ответственности, которую ты несешь перед революцией. А ты соблазняешь народ, способствуешь ослаблению его сил. И ведь делаешь это совершенно сознательно!

Адам: Так оно и есть. В этом ты можешь быть уверен. Я поступаю так совершенно сознательно. С убеждением, что это — единственно возможный путь.

Незнакомец: Чем только усугубляешь свою вину.

Адам: Не спорю.

Незнакомец: А речь ни о чем другом и не идет. Пытаюсь убедить тебя, что ты ошибаешься. Вот что. Давай, докажу тебе это прямо сейчас? Хочешь?

Адам: Почему бы и нет? Заранее согласен. Интересно, каким образом тебе удастся мне это доказать?

Незнакомец: Да очень просто. Где находится эта ночлежка?

Адам: На набережной Вислы. Улица Выкрент, семь.

Незнакомец: Хорошо. Вот увидишь. Прямо сейчас пойдём туда. Уже вечер, и все люди будут на месте. Поговорю с ними на понятном им языке.

Адам: Ладно.

Незнакомец: Скажу им о том, что твои чувствительные порывы от них скрыли и чему не позволили развиваться. Ты увидишь этих людей, растленных вдвойне, ибо нищета — раз, а два — милосердие (твоих рук дело!), этих вдвойне растленных людей я одним махом сумею поднять на человеческий уровень, вытаску наружу подлинную значимость в них человеческого и весь праведный гнев.

Адам: Условия принимаю.

Незнакомец: Тогда пошли!

Адам: Минутку, подожди, пожалуйста. Тут какая-то компания идет. Для меня это — чрезвычайно благоприятный случай.

Незнакомец: Я вас оставляю.

Исчезает в темноте.

А д а м (*устремляется навстречу идущим*): Прошу прощения, господа, я собираю пожертвования для городской ночлежки. Не подадите ли чего-нибудь для самых бедных...

К т о - т о и з г р у п п ы : Кто это?

Д р у г о й : С кружкой милостыню собирает для городской ночлежки.

Т о т ж е : Но удивительно знакомый голос.

М а к с : Адам, не ты ли это?

А д а м : Макс!

Минуту все в недоумении молчат. Подошедшие смущены.

С т а н и с л а в : А мы, Адашь, как раз провожаем пани Хелену после премьеры.

Адам молчит.

Е ж и : Грандиозный успех. Такой Офелии Европа еще не видела!

Снова молчание.

Л ю ц и а н : Как странно, Ежи, прозвучал твой голос в этой пустоте.

С т а н и с л а в : Здесь и впрямь какая-то странная пустота.

М а к с : Вроде запруды.

Е ж и : Будто застой какой-то, не замечаете?

М а к с : Где?

Е ж и : Наверное, в нас самих.

Замолкают.

Л ю ц и а н : Интересно. Как давно мы вот так, все вместе, не собирались. Последний раз, помнишь, Адам, в твоей мастерской? Там еще тогда иезуит был, припоминаете, со своей матушкой? Курьер приходил из Городского совета. Затем явился какой-то незнакомец, не проронил ни с кем из нас ни слова, а когда мы ушли, остался вдвоём с Адамом...

Е ж и : Помню. А потом Адам исчез из виду на несколько месяцев.

М а к с : Не сказал бы. Я знаю, что он всё это время рисовал. Картина «Ессе Ното» обещала стать чем-то чрезвычайно любопытным, какие-то новые технические возможности. Но не это главное.

В чем-то эта картина уступала другим, чего-то не могла достичь, а что-то в ней превосходило... Насколько я знал до этого Адама, я не мог вообразить, что...

А д а м (не сразу): А ты, Макс, и в самом деле никогда не верил в искусство.

М а к с : Я? Как это? Да еще совсем недавно ты утверждал прямо противоположное.

А д а м : И все-таки... Ты же не веришь, что картина способна изменить человека... Преобразить человека...

М а к с : «Ессе Ното»?

Адам молчит.

Л ю ц и а н : Может, все же, Адаш, пройдешься с нами хоть немного?

А д а м : Не могу. У меня очень важная встреча.

Л ю ц и а н : В самом деле?

А д а м : Да, от нее зависит результат всего, что я...

Л ю ц и а н : Решительно не понимаю, о чем тут может идти речь. Я лишь упрекаю себя за то, что в течение этого времени не общался с тобой, а спрашивать напрямик как-то неловко...

А д а м : А речь о том, мой дорогой, что я, как видишь, хожу с кружкой — милостыню собираю в пользу городской ночлежки...

Л ю ц и а н : Ну и что с того?

А д а м : И может так получиться, что на этом мы не остановимся... Это во многом зависит от упомянутой встречи.

Л ю ц и а н : Ну тогда... не станем тебе мешать.

Е ж и : Спокойной вам ночи.

А д а м : Спокойной ночи. И не забывайте, что я хожу с кружкой для милостыни.

Подходят пани Хелена с мужем. Она снимает перчатки и, не произнося ни слова, бросает в кружку для пожертвований кольца с пальцев — одно за другим.

А д а м : Господь воздаст.

Г о л о с а : Спокойной ночи...

Картина девятая

И тотчас после этого прощания возникает ночлежка. В целостном пространстве сознания Адама она занимает не меньше места, чем все предыдущие события. Адам чувствует, как у него всё быстрее стучит в висках. Слишком быстро он шел, точнее бежал, спеша на улицу Выкрент, семь.

Свет единственной лампы под потолком слабее, пожалуй, обычного. Люди сидят и полулежат на нарах, сконцентрировавшись вокруг оратора, который стоит посередине.

О р а т о р : ... Речь о том, что у вас есть человеческие права, или, скажем иначе: у вас есть право иметь человеческие права. А вас между тем этих прав лишили.

К а к о й - т о г о л о с : Кто лишил?

О р а т о р : Кто? Какого-то конкретного виновника не назовешь. Надо поочередно избличать все человеческие сообщества, запутанный узел беззакония и лжи... Естественно, никто сюда не приходил и не указал... на тебя или тебя и не сказал: ты не имеешь права, у тебя нет прав. Этого никто не сделал. Но ведь происходит-то именно это, когда загребают миллионы, поднимая акции, засыпая мир кучей ценных бумаг, которые оплачиваются твоим трудом и твоей нищетой. Разницы никакой. Работа плодит нищету, а нищета прислуживает работе. Вот и выходит, что и то и другое помогает богатеть и жиреть. Богатеть и жиреть. Понимаете?

И всё это, исключая тебя, тебя, тебя — вас. И всё это путем исключения, сужая круг. Никто, разумеется, и пальцем тебя не тронет, чтобы в ответ ты не разорвал их магический круг, которым они замкнули всех и каждого, кроме себя. Этот круг отделяет их необузданную свободу от вашего рабства.

Ни один из вас ничем не владеет. Твоим не являются даже эти нары из голых досок, даже эта охапка соломы на них, на которой до утра не долежать, а как быть...

Но задумайтесь! Это еще не самое худшее. Самое худшее то, в чем вас хотят при этом убедить, будто всё то, что у вас есть, а правильное сказать — нет ничего, что всё это не вам принадлежит, что всё это — из милости, из милосердия.

Так слушайте! То же самое постоянно вдавливают рабочим на заводах, шахтерам на рудниках, батракам в поместьях. Ты создан для того, чтобы не иметь ничего, а они — чтобы владеть всем.

Я пришел пробудить в вас то, что в вас дремлет. Я знаю, что все вы думаете точно так же, как и я сейчас. Все вы думаете так же, но никто из вас не решается заявить об этом во всеуслышание. Почему? Почему вы не выпускаете на свободу ту силу, которая в вас есть? Почему позволяете нищете угнетать вас и подавляете в себе праведный бунт? Почему молчит в вас гнев?

Отбросьте страх!

Достаточно лишь гнева, а силы, способные взять его, использовать, как надо, и направить в нужное русло, найдутся.

Среди собравшихся в ответ ни звука.

Здесь уже давно находится Адам. Он с волнением слушает.

Не уповайте на милосердие. Милосердие вас унижает. Вы в нем не нуждаетесь. Да поймите вы наконец, что всё это просто принадлежит вам. Ничего из милости. Милосердие — жалкая тень, куда затаившийся, неведомый богач силится спрятать свое истинное лицо. Но в ту же тень он стремится погрузить и всех вас — ваши проблемы, вашу истину, ваш гнев.

Берегитесь апостолов милосердия!

Они — ваши главные враги!

Г о л о с : О ком это он говорит?

— Определенно, кого-то имеет в виду.

Адам неподвижно стоит в тени, возле двери.

Д р у г о й г о л о с : Но что с того, о чем ты тут, господин хороший, рассуждаешь, если у человека от голода кишки сводит и надеть нечего?

Ч е й - т о г о л о с : Дурак, да он вовсе не об этом.

Т о т ж е : Тогда о чем?

Голос исчезает в гвалте.

К т о - т о : Скажи-ка нам, господин хороший, что тебя сюда занесло?

Д р у г о й : Именно!

О р а т о р : Хочу, чтобы вы знали, что я о вас думаю. О вашем праве бороться. Нужен лишь ваш гнев.

К т о - т о : Э-э-э, милый пан! Наш гнев! Дернешься тут, так живо запрут, куда следует, и не пикнешь.

Д р у г о й : Да еще и намордник нацепят. Они на это мастера.

О р а т о р : О том-то и речь, чтобы освободиться.

К т о - т о : Но как, каким образом?

О р а т о р : Нужен только ваш гнев!

К т о - т о : Чего-чего, а этого добра всегда в избытке.

Д р у г о й : Какая нам-то от этого польза?

О р а т о р : Ведь струсите, как дойдет до дела...

В с е : Э-э-эй!

— Хорошо тебе болтать, коли есть чем брюхо набить.

— И пальто что надо.

— Верно.

— А ты в нашей шкуре побудь!

— Вот именно.

— Зубами иногда полязгай!

— ... зубами...

— И по несколько дней обманывай свое брюхо!

— ... по несколько дней... Правильно! Попробуй обмануть свое брюхо! (*громко*) Сразу все пройдет!

Адам стоит в стороне. Слова еле доносятся во мраке.

— Побудь в нашей шкуре! Побудь в нашей шкуре!

Адам качает головой, дрожит всем телом.

О р а т о р (*старается спасти не в его пользу сложившееся положение*): Вы ничего не поняли. Ведь я вам говорю, за кого вас принимают, — я же пришел рассказать вам о силе, которую вы в себе носите.

Чей-то смех.

— Что еще за сила?

Всеобщий хохот.

Кто-то другой включается с большой убежденностью:

— Хорошо бы было так, как вы тут говорили. Неплохо было бы. Ну, а если то, о чем вы тут говорили, невозможно? Вот в чем заговоздка.

— В этом-то всё и дело.

О р а т о р : Именно для этого я и пришел: чтобы подготовить вас к тому, что получиться должно. И получится. И очень скоро.

— Если бы!

— Ты-то откуда знаешь?

— А правда, откуда?

Г о л о с а о т о в с ю д у : Всякие тут нас навешали.

К т о - т о : Был тут один такой, помните: всё заливал, что уже, уже. Так бойко болтал, как гадал на картах. Ну, и что? Он-то ушел, а мы остались. Какими были, такими и остались. Вот и всё.

Д р у г и е : А ты-то что намерен делать? Каким был, таким и останешься. Разве нет?

О р а т о р : Вы должны наконец понять: затевается огромное дело. И вы — не единственные. Речь идет о миллионах.

К т о - т о : Вот и иди, а мы здесь останемся.

О р а т о р : Ничего-то вы не поняли. Ни слова.

К т о - т о : Нам до тебя далеко! А тебе далеко до нас!

Д р у г о й : Видишь ли, башка у нас тупая, но одно мы знаем точно: о нас всё знает только тот, кто здесь живет. А другие — и понятия не имеют.

Все начинают от него отходить к своим местам. Потихоньку укладываются на едва покрытых соломой нарах. Слышатся лишь отголоски той сцены, в которой все они только что участвовали.

— Пошел...

— Еще один благодетель.

— Каждый норовит использовать тебя.

— Да...

Оратор остался один. Он даже не заметил, как, отступив на несколько шагов, оказался у самого выхода, рядом с Адамом, стоявшим неподвижно в полумраке.

О р а т о р (*говорит сквозь стиснутые зубы*): Этого-то я больше всего и боялся. Сорняки революции!

А д а м (*неожиданно откликается из своего укрытия*): Да, конечно. Это — люди, которые еще не дозрели до революции, о которой вы тут... (*Прерывается на полуслове.*)

В глубине нищие, вытянувшись на узких соломенных тюфяках, продолжают делиться своими впечатлениями. Слова их обрывисты, фразы не закончены.

— Тепло, нет, чтобы принести что...

— Чего еще захотел...

— Ну и скор на слова...

— Тень на плетень...

А д а м (*продолжает*): ... до революции, за которую вы тут ратовали. Таких единицы.

О р а т о р : А я считаю — большинство! Масса! Почти все!

А д а м : Ну да? Ошибаетесь. Вам бы на рабочих взглянуть. Они же шпана. Их жизнь и гроша ломаного не стоит, а борьбы они всё равно сторонятся. И гнев их весь дальше положенных границ не пойдёт. Да и не хватит его на всё.

О р а т о р : Во всяком случае, много есть еще таких, которых только подтолкни.

А д а м : Вода на вашу мельницу. Жизнь в ореоле нищенства. (*С неожиданной силой убежденности.*) Да. Я готов. Я готов. Думаю, что немного таких, которые способны подняться сами, силой своего гнева... Силой своего собственного гнева, нет, — огорчений, обид — улавливаете? Но чтоб могли сами подняться. По-настоящему подняться.

О р а т о р : Что вы хотите этим сказать?

На нарах, где лежат нищие, теперь уже всё стихло. Лампа еле освещает спящих и засыпающих. Странная вещь: несмотря на то что Адам и его незнакомый спутник находятся довольно далеко от света, создается тем не менее впечатление, что их силуэты освещаются его слабыми лучами. Подобно, может быть, некоему перенесению слуховых ощущений в иную категорию восприятия. Вероятнее всего, голоса обоих собеседников переносят чувственный резонанс в область видимого. Пожалуй, поэтому Адам и его спутник, хоть

и стоят далеко от источника света, выглядят освещенными. Освещенными, впрочем, светом слабым и рассеивающимся.

Некоторое время Адам сосредоточенно молчит, как бы подыскивая для ответа слова, а потому его собеседник вынужден повторить вопрос:

— Что вы хотите этим сказать?

А д а м (продолжает по-прежнему молчать, потом с трудом и очень медленно отвечает): Что я вам чрезвычайно признателен.

Н е з н а к о м е ц : За что?

А д а м : За откровение!

Н е з н а к о м е ц : Откровение?

А д а м : Оно, конечно, не одинаково — для меня и для вас. Где-то заметны расхождения. Но где-то есть общая точка.

Н е з н а к о м е ц : А расхождения почему?

А д а м : Потому что отсюда ведут две дороги.

Н е з н а к о м е ц : Свою-то я знаю. Ваша не в счет. Это — не путь гнева. Все дело только в гневе. О, великий, всеобщий гнев! Людской гнев!

А д а м : В самом деле? Неужели то, что случилось здесь всего минутой назад, ничему вас так и не научило? Знаете, да ведь это символично: масса людей, которые хотят иметь, которые хотят просто взять! И что вы можете против этого сделать, если они хотят иметь? Мы поставим всё на эту силу гнева!? Предположим, что силою гнева можно достичь многих благ...

Н е з н а к о м е ц : Всех благ!

А д а м : Нет. Всех благ — это исключено. Нищета человека гораздо глубже запасов всех благ.

Н е з н а к о м е ц : Такое утверждение — безумие.

А д а м : Может, и так. Но, по крайней мере, это утверждение истинно. Человеческая нищета гораздо глубже запасов всех тех благ, о которых вы говорите. Всех тех, которых можно достичь силой собственного гнева.

Н е з н а к о м е ц : Догадываюсь, о чем вы, и... не могу поверить.

А д а м : В том-то всё и дело. Видите, в том-то всё и дело. Я-то знаю и верю. Как вам еще объяснить, ведь речь идет не о том, чтобы человек стал нищим из-за кого-то другого.

Незнакомец: Если верить вам, так и должно быть.

Адам: Неправда. Зато я убежден, я верю и знаю, что стремиться надо ко всем благам. Ко всем. Мыслимым и немыслимым. Но здесь уже не поможет гнев, необходимо Милосердие.

Незнакомец: Да ты и понятия не имеешь, как всё это умножает твою ответственность за погубленную силу гнева. И погубленную сознательно.

Адам: Сознательно я хочу только воспитать этот гнев, проследить за всем его процессом от начала до конца, не пропустить момент возмужания. Ведь одно дело — пробудить праведный гнев, ждать, пока он созреет и проявит себя как творческая сила, а совсем другое — эксплуатировать его, пользоваться им, как сыром, злоупотреблять им.

Незнакомец: Ну и ну, будете тут его совершенствовать для того, чтобы потом всю его мощь подавить. Но ведь тогда он станет неуправляем. Слишком войдет в силу!

Адам: Неужели вы никогда не давали себе труда хотя бы задуматься об огромном количестве всех тех благ, к которым человек призван? А эта униженная и испуганная масса имеет для вас значение лишь ради силы своего гнева?

Незнакомец: Не может быть части истины. Истина должна быть полной!

Адам: Только не вам об этом рассуждать.

Незнакомец (*заметно разгорячился, но держится с легким оттенком снисходительности*): Вы типичный художник. Есть странное противоречие между тем, что вы говорите, и тем, что вы думаете.

Адам: Во всяком случае, я не лгу, признайте это.

Незнакомец: И в самом деле... да, в высшей степени странно. Вы не касаетесь ни правды, ни лжи. Вы подлинный художник.

Адам: Вполне возможно, многие так считали.

Незнакомец: И что?

Адам: Да ничего. Но я вам безгранично благодарен. Вы помогли мне избавиться от груза прежних идей.

Незнакомец: Разве? Вы же не пошли за мной.

Адам: Ну, разумеется. (*Кивает головой на спящих нищих.*) Они тоже не пошли за вами.

Незнакомец: Они? Да, но разве они в этом виноваты, по крайней мере, так, как вы? Они не виноваты, что не поверили сразу. А кроме того... революция их поглотит. Вот вы — совсем другое дело. Ведь вы всё поняли.

Адам: О, нет... хотя и больше, чем вы.

Незнакомец: Может быть.

Адам: А они, однако, за вами не пошли.

Незнакомец: Думаете, за вами пойдут? Думаете, что их уже можно нанизывать на нитку?

Адам: Нет, я сам пойду за ними.

Незнакомец: Только время трачу на пустую болтовню.

Адам: Нет, просто речь идет о совершенно разных вещах.

Незнакомец: Ладно, предположим... Но мне пора. Вы идете со мной?

Адам: Нет. Пожалуй, останусь.

Незнакомец: И где же вы будете спать, в этой берлоге?

Адам: Они меня уже немного за своего считают. Останусь.

Незнакомец: Последнее — даже очень в вашем стиле.

Адам: Вот именно. В конце концов, мне удалось обрести этот стиль. Это было действительно нелегко. Но, однако... думаю, что, наконец, это станет моим стилем. (*Задумался.*) Нет, стиль не мой. Кое-кому я им обязан...

Адам остается один.

Действие третье

День брата

Отдадимся длинной чередой лет от тех дней, которые накопились в неуловимом потоке. Сама глубинная суть проблемы становления остается в них всегда скрытой за ходом событий. Нам она открылась в напряжении и сложности самой жизни, которая благодаря им стала осязаемой и наглядной. После того как волнения эти остановились в непрерывно длящемся факте, тот глубинный вид и обрел повседневный смысл преображенной жизни.

Факт же длился годы. В течение этих лет утихали прежние волнения, становясь менее осязаемыми, исчезая за складки жизни. Ни одно из них там бесследно не пропало и не исчезло: они стали лишь менее заметными. Они, следовательно, скрылись за границами драмы, за пределами становления, но зато определились в виде ровно бьющегося пульса жизни в ее каждодневности.

Среди всех этих дней отыскался, однако, и такой, в котором прежние волнения отозвались особым эхом. Сам этот день никак нельзя назвать новой драмой, он не внёс никаких новых волнений, однако удивительным образом воспроизвел структуру и смысл предыдущих. А потому заключал в себе что-то драматическое. Но несмотря на это он не завязал новой драмы, не навалился на героя по классическому образцу, словно какая-то сверхчеловеческая катастрофа, похоронившая под своей тяжестью его любовь и мысли.

О, нет: его любовь и мысль уже давно защищены от уничтожения, ибо такова сама их природа — избегать жестоких катастроф, хоть подчас они и взваливают на себя бремя многих из них, заживляя внутри себя их следы. И тем не менее сам день был знаменательным — как отголосок прежних усилий, который не столько завершает драму, сколько еще раз вырисовывает саму глубинную ее суть, застигнутую с течением событий.

Это был один день из жизни Адама.

Один из многих дней — и один из последних.

Старая ночлежка уже давно превратилась в приют. Если сегодня кто-нибудь сюда войдет, он увидит то же самое помещение — длин-

ное и просторное. Вглубь уходят деревянные столбы, подпирающие перекрытия. Раньше их не было. По левой и правой стороне — за рядами этих столбов — стоят топчаны, наподобие прежних, но только лучшие. Они — деревянные, чрезвычайно скромные и простые, но опрятные. Посередине длинный стол. В глубине большое распятие из темного дерева.

Вся левая сторона сейчас скрыта спокойной тенью. Справа какие-то братья в скромных серых монашеских рясах наводят порядок.

Беседа братьев:

— Старший брат уже вернулся?

— Нет пока. Последний раз я видел его сегодня утром. Он ехал в город на своей тележке.

— Значит, скоро вернется. Эти поездки заканчиваются обычно к одиннадцати.

(Спустя минуту этот же брат добавляет) Как ты думаешь, Себастьян, сколько еще мы сможем таким образом выдержать?

Себастьян: Как это? О чем ты?

Антоний: Ведь эта нищета хороша до поры до времени, настанет момент — надоест.

Себастьян: Это не наше дело. Ведь ты дал обет.

Антоний: Столько людей давали обеты...

Себастьян: Нет, брат... Эти мысли никуда не годятся. Берегись! Я буду за тебя молиться.

Антоний: Ну, послушай. В конце концов, у каждого есть свой ум... Это же не может так продолжаться.

Себастьян: Видимо, надо, чтобы наш ум молчал, если это продолжается.

Антоний: Но народу набивается всё больше. Опухшие, подзаборные, бродяги, алкоголики. Все, весь уличный сброд, все, откуда бы ни пришли, сразу имеют право.

А как же, и сам еще при этом норовит пьяную гниль из канав вытаскивать и тащить сюда на сторбленной спине.

Себастьян: Так вот, стало быть, о чем ты, Антоний? Мы для того и обет давали. А остальное — не нашего ума дело. Он пусть за нас думает.

А н т о н и й : Можно бы ему кое-что посоветовать. Вот если бы покончить со всем этим сбродом, средства нашлись бы и для большего количества людей. Дело от этого только бы выиграло.

С е б а с т ь я н : Старшему брату бедность важнее всего.

А н т о н и й : То-то и оно. А мне кажется, что это неправильно. О чем идет речь — о том, чтобы помогать другим, или о том, чтобы любой ценой нищенствовать?

С е б а с т ь я н : Тебе это уже поперёк горла?

А н т о н и й : Нет, я бы не сказал, просто я в толк не могу взять, зачем...

С е б а с т ь я н : Я дал обет, ты дал обет. Теперь держай! Ясно, что мы сюда не за удобствами пришли.

И в конечном счете всем обязаны ему.

Людей из нас сделал.

Д р у г и е б р а т ь я (тащат какие-то мешки): На сегодня, пожалуй, хватит. А большего старший брат не позволяет.

А н т о н и й : Ну и порядки.

С е б а с т ь я н : Говорю тебе, Антоний, гони прочь эти мысли.

Теперь подходит к ним брат в белом фартуке — повар:

— Уже и воду для котла можно бы начать носить, братишки.

— И для нового тоже?

— Тоже, тоже. Уверен, что сегодня будет еще больше людей.

— Ну так идём, Ян.

Братья выходят в задние двери.

С е б а с т ь я н : Как вы там, брат Щепан. Мы уж в общем-то с работой справились.

Щ е п а н : Работы мне не занимать. А раньше, не поверите, был жутким лодырем. Старший наш брат нашел меня однажды побирающимся. На водку, естественно, клянчил. Он сказал только: идите за мной. И я пошел. Это в моей жизни самое странное. Ведь говорю вам: жутким лодырем был. И выпивал, если было на что.

А сегодня с удовольствием изменил бы то время. Хотел бы все изменить. Увы, времени не вернешь. Стараюсь хоть отработать, насколько это возможно.

А н т о н и й : И как, удается, брат-повар?

Щ е п а н : Э, чего там — не так уж это и трудно. В любом деле можно угодить Господу Богу. Так учит старший брат. Вот я, к примеру, варю похлебку... А ведь всё это я имею благодаря ему. Да, да. Но самое удивительное то, что я пошел тогда за ним.

С е б а с т ь я н : О, не вы один ему обязаны.

А н т о н и й (как эхо): Не вы один...

Выходит.

Щ е п а н : Что это с ним?

С е б а с т ь я н : Да ничего. Маленько размышляет. Тяжело ему. Но это пройдет.

Щ е п а н : Наверняка. Не удобствами ведь мы прельстились. И покаяться есть в чем. Хорошо еще, нашелся тот, кто нас вразумил.

С е б а с т ь я н : Да, не каждый это умеет.

Подходит какой-то брат:

— Старший брат скоро уже должен подойти?

С е б а с т ь я н : Да-да. Как только услышишь грохот колес о булыжную мостовую, а потом глухой стук деревяшки по полу...

Щ е п а н : Это вы точно заметили, Себастьян. Так оно и есть, и так повторяется изо дня в день в одно и то же время.

Слышен грохот колес. Потом стук деревяшки.

Б р а т ь я : Вот как раз и он...

С т а р ш и й б р а т (с усилием переступает порог, двигая деревянной ногой): Никто пока еще не приходил, а, братишки?

Щ е п а н : Нет, никого не было, старший брат.

С т а р ш и й б р а т : Разгружайте всё с тележки. Хватит для всех наших гостей. Ну что, скажите, разве это не замечательно... Вы тут, брат Щепан, воду уже кипятите, а еще не знаете, что придется в нее всыпать. А тут маленькая тележка — и вода уж к этому времени как раз закипела. Достаточно всыпать, что привезено на тележке. Через час все получим по миске, а через два — миски помыты. Разве не так?..

Братья молча кивают.

... Важно не то, что мы обходимся без амбаров и хранилищ, а то, братья мои, что Отец наш ежедневно кормит нас и дает кров бедным...

Щепан: Это точно, старший брат, это точно.

Старший брат: А кому ты обязан тем, что ничем не связан, что не окружен разными кладовыми, амбарами, коробками, котомками, беспокойством, страхами, ворами... *(Весело смеется, заканчивая длинное перечисление. Братья вместе с ним разделяют его радость)*: Ну, кому, а, кому?

Щепан: Конечно, вам, брат.

Старший брат: Еще чего! Придумал тоже — мне.

Щепан: Ведь вам же.

Старший брат: Да нет же! *(Ждет некоторое время правильного ответа. Потом говорит сам)*: Обетам!

Братья согласно кивают головами.

Себастьян: До этого — нищий бродяга.

Старший брат: А теперь — нищий монах. А это всё меняет. Обет всё изменил. Вы подружились с бедностью: вот в чем дело.

Щепан: Раньше мы с нею ненавидели друг друга.

Старший брат: А теперь ты ее полюбил и обвенчался с нею. Вот и всё. Видишь, стоило ли устраивать столько ссор?

Все братья весело смеются.

Себастьян *(Вдруг прерывает смех. Говорит как бы себе самому)*: Хотя для некоторых это тяжело.

После всеобщего веселья наступает молчание. Никто ничего нового не добавляет. Молчат, задумавшись.

Через некоторое время входит брат-привратник, обращается к настоятелю:

— Старший брат, какой-то молодой человек хочет с вами поговорить.

— Пригласи его сюда!

Привратник выходит. Спустя минуту появляется молодой человек.

Молодой человек: Мне надо с вами поговорить, старший брат.

Старший брат: Я вас слушаю.

Молодой человек: Я сразу скажу, в чем дело. Мне нравится такая жизнь, как у вас. Прошу вас принять меня в свое братство, старший брат!

Альберт ничего не говорит.

Молодой человек: Я долго об этом думал, брат. Это единственная возможность спасти мою пошатнувшуюся веру. Есть область, где вера колеблется, словно лодка под ударами ветра. Может, это всего лишь надменность ума...

Под лодкой простирается залив. И он — причина беспокойства лодки... Я знаю, что и сам залив до дна переполняет...

Старший брат: Что значат эти слова?

Молодой человек: А как еще определить это удивительно странное, переполняющее человека... очень внутреннее... и очень человеческое... Хотя нет... во всяком случае, это происходит бурно. Вот именно, словно кто-то переполняет этот залив...

Старший брат: Кажется, начинаю понимать. Но чего же вы хотите от нас?

Молодой человек: Видите ли, брат, приблизительно это можно объяснить так: музыка в нашем сознании исполняется тогда, когда глубоко внутри молчат немзыкальные чувства восприятия, при одновременном усилении средств выражения... Веру, которая колеблется, надо спасать подобным же образом. Надо находить соответствующие средства. Выразительные и пульсирующие ее же силой.

Старший брат: И это привело вас сюда?

Молодой человек: Да.

Старший брат: Как вас зовут?

Молодой человек: Хуберт.

Старший брат: Ну хорошо, Хуберт. Побудьте немного с нами. А потом примете решение.

Хуберт: Я уже его принял.

Старший брат: Это еще не всё. Не забывайте: не мы выбира-

ем. Мы лишь оказываемся избранными!

Хуберт: Да.

Старший брат: И в этом вы тоже уверены?

Хуберт: Об этом и речь. Разве в этом можно быть совершенно уверенным? Тут можно лишь искать, испытывать себя...

Старший брат: Мне кажется, что вы, Хуберт, очень устали.

Хуберт: О да.

Старший брат: Вам надо отдохнуть.

Хуберт молчит.

Старший брат: Вы, верно, много занимались музыкой?

Хуберт: Да, раньше. Но откуда вам это известно?

Старший брат: Догадаться несложно. Вы мыслите и оцениваете всё, как музыкант.

Хуберт: Искал выход для себя в музыке. Да напрасно.

Старший брат: По-видимому. Достичь цели бывает нелегко.

Хуберт: Вы тоже так считаете. Конечно. Вам эти проблемы знакомы лучше, чем кому бы то ни было. Я потому именно сюда и пришел.

Старший брат: Но...

Хуберт: Была ведь и в вашей жизни такая минута, когда вы находились перед необходимостью подобного решения.

Пауза. Хуберт напряженно ждет ответа.

Старший брат (*говорит очень медленно, с заметным усилием*): Нельзя делать выводы на основании этой кажущейся аналогии.

Хуберт: Вы говорите: кажущейся — а не лучше ли: поразительной?

Старший брат: Нет!

Хуберт: Нет?

Старший брат: Нельзя судить лишь по тому, что мы воспринимаем с помощью чувств. Помнишь, как ошибся старый Исаак, неправильно выбрав между Иаковом и Исавом? Нельзя судить по тому одеянию, в которое облекается чья-то жизнь. Здесь важно, избран ли ты...

Хуберт: Но как же это распознать?

Старший брат: Для начала — выработать совершенно новый взгляд на мир. У вас его нет. А это, дорогой мой, важно. Это

очень важно. Одно дело — судить о мире по тем законам, по которым сплетаются и расходятся тональности, и это чрезвычайно интересно, очень красиво и убедительно. Но совсем другое — видеть жизнь в категориях нищеты и низости и знать, но знать это точно, что где-то со всем этим соприкасается Бог: какая нищета Его к людям приближает, а какая от них отдаляет.

Х у б е р т : Мне кажется, что я сумел бы это распознать.

С т а р ш и й б р а т : Как? Иллюзорным видением музыканта? Вы хоть представляете, в чем самая большая нищета человека перед лицом Бога?..

Пауза.

... Эту нищету не ищут на краю души человека, на ее периферии. Она находится у человека именно там, откуда должно начинаться его наивысшее восхождение.

Х у б е р т : Да. Догадываюсь, о чем вы... Смысл в противоречии?

С т а р ш и й б р а т : Здесь кроется причина того, почему мы обычно неправильно оцениваем...

Милосердие и горе в жизни имеют совершенно иное значение — и начинаются не там, где мы вообще предполагаем...

Но для этого надо обладать именно тем самым видением. Если его нет, будете всё время совершать глупости. Вы же это ищете, не так ли?

Х у б е р т : Полагаю, что да. Странная вещь: это разбивает мою жизнь и одновременно придает ей целостность.

С т а р ш и й б р а т (*минуту молчит. Потом совершенно неожиданно*): Ну, а что будет с творчеством?

Х у б е р т : А вы как думаете?

С т а р ш и й б р а т : Вы же видите: тут совсем другое творчество. Как бы это вам объяснить... Видите ли, совершенно по-разному проявляют себя взаимодействующие друг с другом талант и труд — то, что нам дано изначально.

Х у б е р т : Ничего не знаю, ничего не знаю: сплошной мрак.

С т а р ш и й б р а т : Это еще само по себе не так страшно.

Х у б е р т : Прошу вас, помогите мне!

С т а р ш и й б р а т : Бедный юноша, кажется, вы ищете чересчур

смелых решений. Нельзя предпринимать такие резкие действия, надо позволить всему происходить постепенно. Необходимо терпение. Конечно, я не считаю, что вам и вправду грозила подлинная утрата веры. Тем не менее вы ищете слишком сильных стимулов. Причем в реальной жизни, а не в области чувств. Это замечательно.

Х у б е р т : Да? Вы хотите меня успокоить.

С т а р ш и й б р а т : Видите ли, ваша проблема не так проста. Многое еще не созрело. Вы, собственно, еще находитесь по ту сторону. Но что-то уже захватило вас...

Х у б е р т : Как хорошо вы это определили.

С т а р ш и й б р а т : Знаю, знаю. Только всё-таки я по-прежнему не уверен...

Х у б е р т : В чем?

С т а р ш и й б р а т : В вашем видении.

Х у б е р т : Вы постоянно упоминаете о каком-то видении.

С т а р ш и й б р а т : Да, да. Бывает ведь, что долго ходишь во тьме.

Х у б е р т : Но именно сюда я пришел за светом.

С т а р ш и й б р а т : Боюсь, как бы вам не ослепнуть... Ведь здесь совершенно другое творчество. Совершенно другое. А если того не будет, а это не созреет — наступит страшная темнота. Не представляю, сколько это может продолжаться.

Х у б е р т : Ну и что? Вы, наверное, судите по себе?

Пауза. Альберт не отвечает.

Х у б е р т : Если вы мне, старший брат, не поможете, то кто же тогда?

С т а р ш и й б р а т : Я как раз и хочу вам помочь.

Х у б е р т : Спасибо!

С т а р ш и й б р а т : Не подумайте, однако, что это означает: оставайтесь с нами навсегда!

Х у б е р т : А что же это означает?

С т а р ш и й б р а т : Скорее, это означает: продолжай поиски.

Х у б е р т : Зачем?

А л ь б е р т : Я не берусь вам сказать. Я не смогу объяснить вам это-

го во всей полноте, но, тем не менее, это так.

Х у б е р т : Продолжать поиск! Но чего? Я уже вдоволь наискался! Искал среди стольких истин. Ведь такие вещи созревают именно таким путем. Философия... искусство... Истиной является то, что всплывает в результате на поверхность, как масло на воде. Вот так открывает нам жизнь истину — медленно, по крупичам, но непрерывно. А кроме того, она есть и в каждом из нас, в каждом человеке. Именно здесь она соприкасается с жизнью. Мы носим ее в себе, она сильнее всех наших слабостей. И так происходит с одним, другим, с каждым человеком? Что есть истина? Где она обитает?

Жизнь состоит из людей, она ими наполнена, и катит свои воды, точно течение, объединяя всех в своем устье на новом уровне света — в широко открытых зрачках... Да, да, просто есть люди, связанные с Истиной, они не выходят из ее орбит и благодаря внутреннему равновесию пребывают в ее объятиях.

С т а р ш и й б р а т (*помолчав минуту, наконец, отвечает*): Вот именно. Вам надо ее искать собственными силами. Такому, как вы, нельзя ни сокращать путь, ни...

Х у б е р т : Ни что?..

С т а р ш и й б р а т : Ни излишне его облегчать.

Х у б е р т : Отговариваете, значит, меня, старший брат?

С т а р ш и й б р а т : Просто не советую. Откуда мне знать, что в вас созреет именно то, что созрело во мне? А до этого — сплошной туман. И при этом поиски на ощупь.

Х у б е р т : Но вы же таким образом приговариваете меня к дальнейшим мытарствам.

С т а р ш и й б р а т : Это не беда. Надо, наконец, чтобы вы стали нищим.

Х у б е р т : Как это? И так уже я столько утратил!

С т а р ш и й б р а т : Это ровным счетом ничего не доказывает. (*После паузы.*) Да и трудно представить, чтобы два человека шли так близко друг к другу по одной и той же дороге. Как это совместить с Его богатством? Господь Бог богат Своими дорогами.

Х у б е р т : Это и есть причина?

С т а р ш и й б р а т : Не знаю. Причины как таковой нет. Но я знаю, что вы не должны здесь оставаться. Вас призывают куда-то еще.

Х у б е р т : Куда?

С т а р ш и й б р а т : Эти вопросы время от времени проясняются. Бывает, и часа довольно.

Пауза. Оба молчат.

Х у б е р т : Меня уже давно преследует одна мысль. Очень навязчивая.

С т а р ш и й б р а т : Какая, скажите...

Х у б е р т : Я пришел к вам, старший брат, в уверенности в том, что никто, кроме вас, не разрешит моих трудностей так, как вы. Ведь они так похожи на вашу жизнь.

С т а р ш и й б р а т : Ни о чем это не свидетельствует. Ну, и что же?

Х у б е р т *(делает над собой усилие в поиске слов для того, о чем хочет сказать. Наконец, спокойно произносит)*: А может, вы, старший брат, просто хотите зачеркнуть во мне всю вашу жизнь?

Альберт опускает голову, на минуту он помрачнел. Потом снова поднимает глаза и пристально смотрит на молодого человека, но при этом очень ласково:

— Бог слишком добр. *(Качает головой.)* Бог слишком богат. Чересчур богат!

Х у б е р т *(глаза не опускает, но чувствуется, что он уже не столь уверен, ибо повторяет со всей настойчивостью, но более тихим голосом)*: А может, вы, старший брат, просто хотели зачеркнуть во мне то, чем была ваша собственная жизнь?

Невозможно! Невозможно!

Они расстаются, не говоря больше ни слова. Альберт застывает, недвижим, как будто всё в нем замерло. К нему подходит один из братьев и что-то сообщает шепотом. Он отвечает.

— А, ладно, ладно.

Брат отходит. Через минуту появляется брат Антоний.

А н т о н и й : Мне нужно с вами поговорить, старший брат.

А л ь б е р т : Может, попозже будет более подходящее время?

А н т о н и й : Мне надо прямо сейчас. Дело мое простое. Я сыт по горло этой нищетой.

А л ь б е р т : Не вы первый.

А н т о н и й : Думаю, вы могли бы сделать гораздо больше хорошего, откажись вы от своего упрямства.

А л ь б е р т : Однако же, брат, всё хорошее делается здесь через бедность.

А н т о н и й : Через нищету и возню с мешками?..

А л ь б е р т : А как вы полагаете, поверил бы нам кто-нибудь из этих отверженных и бездомных, если бы увидел у нас не то, что сам тащит на своем горбу?

А н т о н и й : Поверит он или не поверит... Мне-то что за дело. Я один из них, поэтому знаю, что важно лишь удовлетворить его потребности.

А л ь б е р т : Ни в коем случае. Самое главное — чтобы он поверил.

А н т о н и й : Полагаете, что у него есть время думать об этом. Я — такой же, как они, и это я знаю. Никаких тут мыслей. Мысль должна была бы прекратить требования. Поэтому достаточно давать.

А л ь б е р т : Вы неправы. Его надо вытаскивать из этой бессмыслицы.

А н т о н и й : Для чего?

А л ь б е р т : Чтобы научить его предъявлять еще более высокие требования. Вы что же, находясь среди нас, так этого и не поняли? Требовать еще больше. Искать еще больше.

А кроме того, вы ошибаетесь. Он думает об этом. Если думает вообще, так именно об этом.

Ах, Антоний, Антоний! Неужели вы этого не поняли?

А н т о н и й : Да, я не смог этого понять. И никогда не смогу понять, что здесь подразумевалось, брат Альберт.

И, думаю, не только я один.

А л ь б е р т : Но ведь я никогда от вас этого не скрывал. Мне важно только то, чтобы вы знали. Вы все.

А н т о н и й : Но что вы можете сделать, если вас кто-то не понял? И это не только я. Таких предостаточно. Хотя только я решился сказать вам это, старший брат.

А л ь б е р т : Вот за это спасибо, Антоний.

А н т о н и й : Они тоже вас не понимают, пусть и соглашаются с вами. Так проще. Живут за ваш счет. Сдались вашим установкам. А сами не думают. Поэтому спрашиваю еще раз: что это значит,

старший брат, почему вы нас обделяете? Зачем заставляете нас попрошайничать и бедствовать? Спрашиваю об этом от лица их всех.

Во время разговора помещение стало медленно заполняться братьями. Наступил час трапезы, и братья постепенно занимают лавки. Братья стоят на своих местах и молчат. И тем не менее именно это молчание начинает придавать всему происходящему необычный характер. Кажется, будто это безмолвное осуждение Альберта.

Старший брат старается разобраться в сложившейся ситуации. Неужели перед ним вдруг разверзлась пустота — в том месте, которое он стремился заполнить всем, чем владел? А может, и вправду он постоянно совершал одну и ту же ошибку в отношении этих людей, которых, как ему казалось, обращал в веру? И они невольно осуждают его. Но сейчас Альберт уверен, что слова Антония, обращенные к нему, задели и их всех.

А потому, обведя взглядом собравшихся, Альберт пытается прочесть приговор себе уже в их глазах. Но не находит его. Тогда он начинает говорить — тихо и очень мягко.

Альберт: Братья мои, я отнял у вас всё, требуя от вас всего. Не обольщал никакими обещаниями. Имел ли я на это право? К тому же я надел на вас ярмо. Но силу нести его я искал в глубине каждого из вас. Там, где ненависть к проклятому бремени должна преобразиться в любовь к нему...

Останавливается, некоторое время молчит.

... Вы догадались, наверное, что я говорю о кресте. О нашем общем кресте, который есть преображение грехопадения человека во благо, а его неволи — в свободу.

От стоящей в сосредоточенном в молчании, будто замершей, группы братьев в серых облачениях отделяется фигура старика. Он делает несколько шагов по направлению к Альберту, потом протягивает руку, как будто хочет похлопать его по плечу:

— Брат, старший брат, Альберт!

Эти слова закрипели в пустоте, словно звук движущегося рычага. Альберт почувствовал поддержку, но опираться на нее стал очень осторожно, как бы испытывая, выдержит ли она.

... Имел ли я на это право? Ведь даже бедность была лично вашей.

В эту минуту Альберт чувствует прилив неведомых сил. Глаза его странно сверкают, он говорит:

— Это была игра. Ведь я знал, что я не один. В каждом из вас я встречал бедность — и Его. Они долго находились вдали друг от друга. Изю всех сил я старался сблизить их, ибо раньше вы были нищие, и от вашей нищеты веяло пустотой. С тех пор как вы приблизились к Нему, грехопадение преобразилось в крест, а из вашей неволи возникла свобода.

Б р а т С е б а с т ь я н (поднимает руки к самым вискам и, оставаясь стоять посреди помещения, произносит сквозь слезы): Из неволи — свобода... грехопадение — в крест... О да, Альберт, да!

А л ь б е р т : Сын Божий — это совершенная свобода. Ни капли рабства.

А н т о н и й (который до этого молча стоял): Ну и что с того? Что с того, что Он — это совершенная свобода? Он был когда-то.

А л ь б е р т : Он есть всегда!

А н т о н и й : Есть. Я верю. Ты говорил нам, чтобы мы верили в Него, молились и подражали Ему. Хорошо. Говорил нам: будьте бедняками, ведь Он не имел, где приклонить голову. Хорошо. Мы с удовольствием слушали тебя, ведь и ты поступал так же. В тебе не было никакой лжи. Но ведь...

Антоний не находит слов. Молчание сразу же становится тягостным.

А л ь б е р т (лишь спустя некоторое время решается произнести следующую фразу. Говорит он ее еле слышно, но очень твердо, почти с каким-то оттенком настойчивости): Он есть всегда. И всегда Он касается других.

И воссоздает в них...

Себя!

Эти последние слова Альберт произнес удивительно звонко.

А теперь снова задумывается.

А л ь б е р т : Видимо, не слишком глубоко коснулся... Видимо...

Неясно, к кому относится сказанное. Альберт быстро поворачивается и направляется к Распятию, которое темнеет в глубине помещения. Все смотрят в ту же сторону. Старший брат не прижимается лбом к Распятию. Он останавливается. Антоний двигается за ним, как зачарованный. Теперь Альберт говорит:

— Кто-то виноват. Нас было трое. (Поднимает глаза к Распятию): Он — нет! (Медленно вполоборота поворачивается к Антонию, заметно, что дается ему это с бóльшим трудом, чем обычно): Ты — нет!

Пауза.

Может, я?.. (Задумывается. Потом быстро идет к столам): Звонили уже к обеду.

Все братья погружаются в молитву. Некоторые места остаются еще свободными.

Антоний ошеломлен, кажется, что какое-то время он борется с самим собой. Потом идет на свое место. Закрывает лицо руками.

В эту минуту в прихожей слышатся шаги. Раздаются звуки, с какими обычно убираются рабочие инструменты — кирки, лопаты. Открываются двери, и в помещение входит несколько братьев.

В молчании они направляются к своим местам. Все теперь в сборе.

Краткая молитва. Все садятся.

Старший брат (обращается к подошедшим): Ну, как там у вас?

Один из подошедших братьев: Нас всех раньше отпустили с работы.

Старший брат: Почему так?

Тот же брат: В городе что-то творится.

Другой: Остановились трамваи, не ходят машины.

Подошедший: Говорят даже, что выключен газ и электричество. Рабочие побросали работу и стали присоединяться к идущим, которые с возгласами собираются в разных местах.

Старший брат: Я еще утром заметил странное движение... Да, да.

... Но чтобы это так стремительно привело к взрыву...

Однако ведь было видно, повсюду возводились баррикады. Искры хватило бы...

В дверях — еще один странник.

А л ь б е р т : А вы, брат, откуда?

Т о т : Я собирал пожертвования. По всему городу закрываются столовые, магазины. Вокруг беспокойно. Всюду полно полиции.

С т а р ш и й б р а т : Ну, так приглашаем к столу!

Вдруг на другом конце стола поднимается один из сидящих братьев. Это Антоний.

А н т о н и й : Ну, видите, чем теперь обернется вам ваше нищенство?

А л ь б е р т (с улыбкой глядит в его сторону): В самом деле, брат Антоний?

А н т о н и й : А ведь я говорил, говорил!

Сбит с толку улыбкой старшего брата.

Альберт задумывается. Потом говорит очень тихо, взвешивая каждое слово.

А л ь б е р т : Я давно знал об этом. Это должно было случиться.

С б о р щ и к п о ж е р т в о в а н и й : Давно, старший брат, знали? Что вы знали?

Альберт внимательно всматривается в ту сторону, но при этом как бы сквозь пелену.

А л ь б е р т : Я знал о гневе. О великом гневе. Справедливом.

С б о р щ и к п о ж е р т в о в а н и й : И что?

А л ь б е р т : А что? Вы ведь знаете, что гнев должен взорваться. Особенно когда его так много. (Пауза.) Это будет продолжаться долго, потому что он справедливый.

Задумывается еще больше. Потом добавляет лишь одну фразу, будто самому себе, несмотря на то, что все его сосредоточенно слушают.

Однако я уверен, что выбрал наибольшую свободу.

Это был один из последних дней жизни старшего брата.

Комментарии

Пьеса «Брат нашего Бога» создавалась в 1945–1950 годы. Впервые опубликована на страницах католического еженедельника «Tygodnik Powszechny». — Kraków, — R. XXXIII; 1979, N 51–52 (1613–1614), z. 23 — 30 grudnia — S. 11–12.

Перевод сделан по изданию: Karol Wojtyła. Poezje i dramaty. — Kraków, 1987. — S. 113–188.

В основе пьесы — судьба и реальные события из жизни художника Адама Хмельевского, принесшего монашеские обеты: о нем и брате Альберте см. проповедь К. Войтылы «Сверхъестественное величие», а также «Речь Иоанна Павла II в день канонизации св. брата Альберта» и комментарии к ним.

Папа Римский в общей сложности посвятил брату Альберту около 40 проповедей, выступлений и богословских работ, он называл его приверженцем любви, которую святой превратил в своеобразное и чудесное приданое. Это приданое он преподнес всем людям, подав своим личным примером пример Церкви — оплачивать собственные долги любовью и с любовью. По выражению Кароля Войтылы, брат Альберт был «апостолом Церкви несчастных», которым он преподавал великий урок: как сохранять чувство собственного достоинства в обстоятельствах нищеты и одиночества. «Предвестник открытой Церкви», он неустанно демонстрировал неразрывность понятий милосердие и христианство, доброе его сердце, по словам Иоанна Павла II, было подобно хлебу, которым он щедро со всеми делился. «Серый брат» стал выразителем польской души и чаяний польского народа в борьбе за национальную независимость.

Брат Альберт — своеобразный символ поколения повстанцев. Среди своих современников он считался личностью авторитетной, его влияние по-разному испытывали в Польше многие выдающиеся деятели, в том числе художники и писатели на рубеже веков, а также и позднее, уже после его смерти, особенно это стало заметно в межвоенный период. Среди близко соприкоснувшихся с его талантом были Г. Сенкевич, Т. Мичиньский, С. Жеромский, В. Лютославский.

Существует мнение, что «Брат нашего Бога» — пьеса не традиционных диалогов, а некий сплошной авторский монолог, звучащий на разные голоса на тему милосердия. Не случайно после обнародования энциклики «*Dives in misericordia*» («О Божьем милосердии», 1980) возникло суждение, что первоначально программу милосердия содержала именно эта пьеса.

Здесь есть аллюзии, непосредственно обращенные к национальным драматургическим традициям, среди которых, например, так называемые философские «высокие комедии» Ц.К. Норвида «За кулисами» (1869) — в ней «маски» актеров, ведя за кулисами философские диспуты, одновременно разыгрывают фантастическую трагедию о греческом поэте VII в. Тиртее; и «Перстень великосветской дамы» (1872) — где едва ли не впервые в польской литературе да-

но обоснование исходным понятиям милосердия. Заметна здесь и тенденция к интеллектуализации поэтического слова, которая свойственна Норвиду — одному из самых близких К. Войтыле поэтов.

Постановкой проблемы милосердия «Брат нашего Бога» отчасти переключается и с фантастической драмой-«видением» З. Красиньского «Небожественная комедия» (1835). Есть еще один «театральный источник» из национальной романтической сокровищницы — драма С. Выспянского «Освобождение» (1903 и 1906), действие которой также происходит на сцене (не случайно кинорежиссер К. Занусси, экранизируя «Брата нашего Бога», заключает сюжет фильма рамками кулис, причем вполне конкретного театра: краковского, им. Ю. Словацкого). Здесь выступают актеры-маски, с которыми ведет «борьбу идей» Конрад — герой «Дзядов» Мицкевича — по вопросам моральной ответственности интеллигенции за судьбу народа и поиск выхода из национального кризиса.

Используя поэтику «театра в театре», Войтыла ее своеобразно переосмысляет как «традицию в традиции», стремясь, не ломая театральных канонов, трансформировать их в русле рапсодического стиля (о нем см. статьи «О театре слова» и «Драма слова и жеста»). Таким образом воссоздаются взаимодействующие между собой цепочки тех составляющих, которые непосредственно вовлечены в литературно-духовное пространство драмы: например, Войтыла–Норвид–Тертей или Войтыла–Выспянский–Мицкевич и т.д.

В некотором смысле «Брат нашего Бога» — пьеса сугубо реалистическая, т.е. она в точности воспроизводит исторический фон, опираясь на реальные факты, письма и документы, связанные с жизнью конкретного человека — художника Адама Хмельевского, сохранены названия улиц и адрес, по которому он проживал, легко узнаваемы прототипы действующих лиц, а также философские разговоры и споры, словно бы пришедшие сюда из польской художественной, документальной, но в первую очередь мемуарной литературы.

Однако именно философские идеи и проблемы, выступающие в произведениях предшественников К. Войтылы в виде «масок», являются главными персонажами «Брата нашего Бога» и говорят в пользу рапсодичности пьесы, что, без сомнения, и делает ее философской, позволяя автору свободно смещать хронологические рамки. Как пишет К. Войтыла, данная пьеса — «попытка проникнуть в человека», и в этом смысле ей трудно дать однозначное жанровое определение: при всей реалистической точности и скрупулезном отношении к деталям, факты «кочуют» из одного времени в другое, историчность условна, философичность конкретна и целенаправленна (тема милосердия), а реалистичность не преследует достоверного воспроизведения психологии. Скорее всего, пьесу можно обозначить как драматургический трактат о человеке.

С этой точки зрения условна ее историчность, несмотря на то, что ее относят к историческим драмам. Эта пьеса вместе с другими его же — «Иов» и «Иеремия» — составляют своеобразную трилогию. Однако автор подчеркивает, что в пьесе «Брат нашего Бога» речь идет о явлениях, которые лежат «на

дне сущего» и не познаются историческим методом. Тем самым К. Войтыла предлагает нам другой подход — его можно было бы обозначить как «сверх-естественный», осуществляемый в категориях трансценденции, что выражается в образах света, блеска, сияния.

Действие первое

Макс — Максимилиан Герымский (1846–1874) — художник, известный своими картинами, посвященными Январскому восстанию 1863 г. Вот, как он писал об Адаме Хмельёвском: «Несчастьем [этого человека] было то, что он хотел соединить в одно целое теорию с практикой, приспособить жизнь к поэтическим требованиям, что от себя он требовал больше, чем природа дала человеку, чем могла ему дать»*.

Станислав — Станислав Игнацы Виткевич (1851–1915) — критик искусства, художник и писатель.

... *видения собственного «я»*... — ключ к пониманию всей пьесы, в которой характерные для времени ее действия проблемы индивидуализма переводятся в плоскость объектно-субъектных отношений в ракурсе раскрытия внутреннего мира личности и проникновения в него. Анализу человеческого «нутра» посвящен один из важнейших философских трудов К. Войтылы — «Личность и поступок». Но в отличие от этого исследования, где ученым выявляются виды и формы взаимодействия мира внутреннего, внешнего и трансцендентного, в пьесе внимание больше сосредоточено на поиске форм самовыражения и их адекватных связей с миром окружающим. То есть на возможности постичь себя в служении другим и через понимание другими, когда средства искусства перестают удовлетворять.

Пани Хелена — Хелена Моджеевская-Храповская (1840–1909), крупнейшая польская актриса трагического амплуа, прославившаяся шекспировскими ролями. В 1876 г. она эмигрировала в Америку (играла на польском и английском языках). Адам бывал частым гостем приемов, которые устраивались в ее салоне по вторникам. Существует мнение, что вместе с ней и другими представителями искусства (в том числе Сенкевичем и Виткевичем) в Америку собирался ехать и А. Хмельёвский, однако вскоре он от этой идеи отказался. Вот, каким он запомнился актрисе: «Он был ходячим образцом христианских добродетелей и настоящим патриотом — почти бестелесный, дышащий поэзией, искусством, любовью к ближнему, натура чистая и не знающая эгоизма, девизом которой должно было бы быть: счастье — для всех, хвала Богу и искусству!»**.

Сохранилась их переписка. Приведем отрывок из одного его письма к актрисе:

«Не могу больше терпеть эту ужасную жизнь, которой потчует нас мир,

* Ks. Michalski K. Brat Albert. — Kraków, 1946. — S. 28–29.

** Modrzejewska H. Wspomnienia i wrażenia na polskiej scenie // Nowa myśl, 1936. N 5. — S. 134–137.

и не в силах более носить на себе ее тяжелые цепи. Мир, будто злодей какой, ежедневно, ежечасно выдирает из моего сердца всё, что было в нем доброго, крадет мою любовь к людям, спокойствие и счастье, лишает нас Бога и неба. От всего этого я ухожу в монастырь; если душу еще потеряю, что тогда мне останется? Словацкий, которого Вы так любите, говорит, что «талант подобен фонарю в руке безумца — вот так, с зажженными огнями, идем топиться в реку». Хотя я и не могу сказать, есть у меня талант или всего лишь талантлик, но глубоко убежден, что нахожусь сейчас на распутье, на повороте от того самого берега той самой реки, и скольких несчастных утопленников она уже поглотила и скольких еще поглотит!»*

Письмо датировано 1879 г. (т.е. за десять лет до окончательного выбора монашеского пострига), оно было написано в Старой Вси (буквально: Старая деревня), где Адам Хмелёвский проходил испытательный срок как послушник в монастыре иезуитов, который, однако, он вскоре покинул. Видимо, с того времени начинается его увлечение движением францисканских терциариев.

Люциан — Люциан Семеньский (1807–1877) — поэт и литературный критик, участник Ноябрьского восстания 1831–1832 гг., профессор литературы Ягеллонского университета в Кракове; выразитель свободно-демократических и славянофильских взглядов; создатель исторических дум (навеянных украинской народной поэзией и революционными стихотворениями), прозы, переводчик Гомера, Горация и др., редактор и сотрудник ежемесячника «Czas» (1848–1860). В течение многих лет оставался одним из самых близких друзей и наставников (ибо значительно старше) Адама. Сохранилась их переписка.

... напряжение, которое существует в глубинах художника... — А. Хмелёвский начинал как художник, писавший сцены из жизни повстанцев, но уже в те годы он обратился к прославившим его технику темам: «Сад любви», «Серая година», «Вечернее настроение», «Монах на кладбище» и др. Позднее, живя в Подоле, он создает «Св. Веронику» и «Ессе Ното» — об этой-то картине, настолько известной, что она стала его своеобразным символом, и идет в пьесе разговор между Богословом и его матерью. Эта картина, наряду с другими персонажами и идеями, — своего рода действующее лицо пьесы.

В связи с этим нельзя не отметить важную особенность Папы Римского (и не только как писателя): самые свои сокровенные мысли в пьесе отдаются именно женщинам. Им свойственна особая глубина и тонкость восприятия, художественная и этическая чуткость. Стоит поэтому с особым вниманием отнестись к тому, как рассуждает об искусстве пани Хелена или, в частности, Пожилая дама: «Речь идет не о том, что всё обретает вроде бы ценность в результате личного переживания художника, а о том, что это переживание создает гораздо больше, чем само явление». Понятию переживания Войтыла впоследствии посвятил свои главные научные труды: «Личность и поступок» и «Любовь и ответственность».

* Ks. Michalski K. Brat Albert... S. 186.

Незнакомец — предполагается, что одним из его прототипов был (во всяком случае, мог им быть) Ленин, который в те годы находился в Закопане и вполне мог встречаться с А. Хмелёвским, которого остро интересовали проблемы социальной несправедливости. В польской литературной критике отношение к образу Незнакомца неоднозначно, однако «фигура в черном», каким он обозначен в ремарке, весьма красноречива.

... *видеть мир по-своему*... — В этом, по мнению К. Войтылы, заключена драма Гамлета как «внутреннего человека». Через это понятие, рожденное размышлениями автора в разных его сочинениях — в том числе и в проповеди о брате Альберте и в научном труде «Личность и поступок» — К. Войтыла формулирует одно из ведущих своих положений: право человека на свободу совести и любви, что прежде всего означает право на независимый внутренний мир, посредством которого и осуществляется единение с Богом.

Вот как вспоминает о Хмелёвском один из близких его окружению художников: «Из всех нас Адам как художник был самым мудрым, несмотря на то что он не мог ничего довести до конца и портил свои изумительные вещи. Отсутствие ноги у человека богатырской силы, которому необходимо движение, приводили к недомоганиям желудка, а это опять-таки способствовало плохому настроению. [...] У нас есть немало свидетельств, говорящих о его незаурядной роли, об особом значении Хмелёвского в формировании всей нашей живописи этой великой эпохи. Его присутствие провоцировало, толкало к новаторству, исключало дешевые компромиссы»*.

Сенкевич называл его «другом теней, которые окутывают тайной его образы», отмечал в его творчестве наивность, близкую прерафаэлитам (отчасти эти мнения высказывает в пьесе отец Казимира)**, имея, наверное, в виду пристрастие Хмелёвского рисовать кладбища, атмосферу этих картин с ее игрой света и тени.

Вообще же общей точкой, где сходятся, излучаясь, идеи и мнения об искусстве разных представителей философии, является в пьесе «партия» Бого-слова отца Казимира, тогда как споры Макса и Станислава по большей части направлены в социальную плоскость.

...*Тогда мне и ногу раздробило*... — А. Хмелёвский принимал участие в отечественной повстанческой борьбе 1863 г. дважды. Первый раз был взят в плен австрийской армией и посажен в тюрьму, откуда бежал, чтобы вернуться к повстанцам. В сентябре 1863 г. он был ранен в ногу. После разгрома восстания, став инвалидом, уехал в Париж и начал там учиться живописи, амнистия 1865 г. позволила ему продолжить занятия в Варшаве. С 1869

* Masłowski M. Malarski żywot Józefa Chelmońskiego. — W-wa, 1965. Подробный очерк жизни А. Хмелёвского см.: «Muszę z nimi pozostać» (Brat Albert Chmielowski) // Z Chrystusem idziemy przez życie. Katechizm religii katolickiej. — Poznań, 1973. — S. 113–117; Słownik hagiograficzny. — Poznań, 1995. — S. 39–52.

** Ks. Michalski K. Brat Albert... S. 77.

по 1874 г. он учился в Академии изящных искусств в Мюнхене, где была одна из наиболее представительных польских диаспор, здесь он, в частности, и сблизился со Станиславом Виткевичем.

... *чтобы я уладил это дело в Союзе...* — По-видимому, речь идет либо о Союзе бывших повстанцев, либо о союзе, связанном с конспиративным участием в движении францисканских терциариев, которым увлекся, живя в Подоле, А. Хмелёвский и откуда вынужден был уехать в 1887 г. под угрозой высылки в Сибирь; либо о каком-то художественном Союзе, если учесть, что Л. Семеньский принимал активное участие в литературно-культурной жизни Кракова.

«Нищих всегда имеее...» — свободное цитирование Евангелия: «Ибо нищих всегда имеее с собою, а Меня не всегда имеее» (Мф 26, 11).

Действие второе

... *Столкнувшись друг с другом, [мысли] освещают его лицо...* — Здесь особенно видно, как К. Войтыла использует (почти буквально) и трансформирует характерную для польской драматургии, о которой шла выше речь, поэтику театральных масок-идей, масок-проблем. В его пьесе таковыми оказываются мысли, движущиеся, как реальные персонажи. Но это — не фантастика и не особый театральный прием, а строгое следование рапсодическому стилю, подразумевающему «игру проблемы», и собственной исследовательской задаче — проникновение в глубины человеческого.

... *в пересоздании себя, преображении...* — в данном пояснении, которое трудно отнести к традиционным ремаркам (у Войтылы они больше похожи на сопровождающие тексты лирические отступления, во всяком случае, незримое присутствие автора-режиссера очевидно), заключены три важнейшие для этой пьесы аллюзии. На первую ссылается священник Войтыла, когда говорит о брате Альберте как новом Конраде — герое «Дзядов» Мицкевича (см. проповедь «Сверхъестественное величие»). К этой аналогии он вернется еще раз, перефразируя ее: «Умер художник, родился слуга убогим»*. Есть и еще одна аналогия — самая объемная: Адам прежний и Адам новый как Адам Первый и Адам Второй, т.е. Христос.

... *Новый Адам обнаруживается постепенно, в трепете и страхах прежнего Адама...* — здесь еще одно противопоставление, причем в данном случае оно в поэтике пьесы: Адам прежний и Адам новый, а также Адам внешний и Адам внутренний. Но на этом противопоставление не завершается: внутри Адама будут еще и Посторонний, с кем он ведет многочасовые беседы, и Некто, прислонившийся к уличному фонарю, будет и Он — Образ его картины, и Христос, с Которого Образ пишется.

... *тьнь Адама словно бы отделяется от его фигуры...* Свет (в виде ламп в

* Wojtyła K. O św. Bracie Albcercie Chmielowskim: świadectwo oddania bez reszty. — Kraków, 1990. — S. 51.

помещении, фонаря на улице и тому подобное) и тени (полумрак на лицах персонажей), как и попытка соотнести свет, идущий от ламп, с другими функциями человеческого восприятия — играют в пьесе важную и самостоятельную роль (что особенно заметно в заключительной сцене). Свет, тьма, тени, отвечая рапсодической поэтике контрастов, предстают еще и как мистические категории, передающие путь человеческой души к Богу, общение с Ним, в чем заметно определенное воздействие богословия озарения, если можно так сказать, св. Иоанна Креста, которое Папа Римский осмысляет во многих своих трудах. Отсюда и проблемы выбора жизненного пути, также решаемые в категориях видения, сияния, блеска (см. его Предисловие к пьесе, диалог брата Альберта с Хубертом).

... где «твоё», а где «моё»... — О понятиях «моё» и «твоё» более подробно автор рассуждает в «Свечении отцовства» и в «Размышлениях об отцовстве».

... будет единственно Божией благодатью... Польское слово *laska* переводится и как «благодать», и как «милость», и мы используем оба варианта. В данном случае мы остановились на первом значении, руководствуясь тем интересом, который проявляет Папа Римский к этому важнейшему в его мировоззренческой системе понятию. О нем он много рассуждает в своих работах, в частности, посвященных св. Иоанну Креста. В другом случае (см. картину девятую) это слово мы перевели как «милость» — оно особо значимо в контексте пьесы, если рассматривать ее (о чем уже говорилось) как скрытый трактат о милосердии, которое показано здесь не только в плане отношений брата Альберта к нищим и отверженным (пьеса посвящена именно этому), но и более широко — Бога к человеку.

«Боже мой, Боже мой! для чего Ты Меня оставил?» — Мф 27, 46: А около девятого часа возопил Иисус громким голосом: «Или, Или! лама савахфани!» — то есть: «Боже мой, Боже мой! для чего Ты Меня оставил?»

«Отче мой, если возможно, да минует Меня чаша сия...» — Мф 26, 39: И, отойдя немного, пал на лице Свое, молился и говорил: Отче Мой! Если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем, не как Я хочу, но как Ты.

Нельзя постоянно находиться на перекрестке двух дорог. — Эти слова Адама Хмельёвского биографически близки автору, также оказавшемуся в свое время перед выбором служения литературе и театру или Богу. Известно, что интерес К. Войтылы к личности св. брата Альберта был обусловлен и моментами совпадений в их судьбах.

... чтобы призвание исполнилось... — Тема призвания — ведущая во всех трудах и выступлениях Папы Римского, о ней он рассуждает и в книгах своих бесед с французским журналистом-католиком А. Фроссаром «Не бойтесь!»* и с итальянским публицистом В. Мессори «Переступить порог надеж-

* Frossard A. «Nie lękajcie się»: Rozmowy z Janem Pawłem II. — Kraków, 1983.

ды»*. Тема вынесена и в заголовок первого действия пьесы: «Мастерская судеб (а буквально: предназначений)».

... *вы неспособны разделить моего познания.* — В данном контексте подразумевается, видимо, познание как «опыт» в его философском и богословском смысле — выход за пределы чисто человеческих знаний в сверхъестественный мир, который может быть доступен прежде всего через Любовь. Это познание детально и всесторонне рассмотрено К. Войтылой в его статьях о св. Иоанне Креста и в философском труде «Личность и поступок».

Вместе с тем, стремясь преодолеть узкий подход к пониманию «опыта», герой обращается и к опыту мистическому, в котором — через свою картину и создаваемый Образ — непосредственно обретает единение с Богом.

В споре Адама с самим собой (как и в его разговоре со священником или другими персонажами) раскрывается сложность поиска пути служения людям через Любовь к Богу, пути, по которому прошел реальный человек, запечатлевший свои внутренние метания. И это тоже опыт, каким показывает его К. Войтыла.

... *для христианского служения обездоленным...* В 1887 г. Адам Хмелёвский стал терциарием (см. комментарий к «Речи Иоанна Павла II, обращенной к полякам...»), а в 1888 г. постригся в монахи, и уже став братом Альбертом, целиком посвятил себя заботе о бездомных, больных и сиротах. С этого времени он своих картин не визировал и не хранил: их он либо продавал или менял взамен на помощь его нуждающимся нищим, а потом монахам, либо просто дарил.

Similis simili — подобный подобному (лат.)

... *странная смерть, которая является началом жизни.* — см. проповедь «Сверхъестественное величие» и комментарий к ней.

... *пошли на пользу наши поля Подола...* В начале 1980-х годов А. Хмелёвский покинул по состоянию здоровья иезуитский монастырь (находившийся в Старой Вси), где проходил своего рода испытательный срок, и поселился в Подоле. Здесь, в частности, и заинтересовался он движением францисканских терциариев — сторонников строить жизнь по Богу, не уходя в монастырь, возникшим по рекомендации Папы Льва XIII.

С кружкой для пожертвований... — в Польше это специальное понятие [kwestarz], обозначающее лиц, которые собирают милостыню и жертвования в пользу других нуждающихся.

Действие третье

... *братья в скромных серых монашеских рясах...* Так одеты обычно монахи-францисканцы. Возникшее при участии св. брата Альберта братство альбертинов и альбертинок, принадлежало францисканскому движению.

* Папа Иоанн Павел II. Переступить порог надежды. При участии и под ред. Мессори В. — М., 1995. (пер. на рус. яз. А. Калмыковой).

Опухшие — Папа Римский не один раз употребляет слово *opuchlaki*, объяснение которого см. в коммент. к «Речи на аудиенции, данной Иоанном Павлом II полякам...». В данном контексте мы перевели его как «опухшие».

ежедневно кормит нас и дает кров убогим Отец наш... — один из тех важнейших для христианства принципов, который запечатлен в молитве «Отче наш» («хлеб наш насущный даждь нам днесь») и по которому организовывал свои приюты св. брат Альберт.

Хуберт — Кароль Хуберт Ростворовский (1877–1938), драматург, поэт и публицист. Встречался ли Адам Хмелёвский с ним — доподлинно неизвестно, известно, что они переписывались. О некоей условности воссоздаваемых автором встреч героев (как и их предполагаемых бесед) говорит не только хронологическая «сдвинутость», в частности, образа Хуберта (его прототипу — Молодому человеку, в момент этой встречи с братом Альбертом должно было бы быть около 40 лет), но и сам разговор, который в действительности происходил (по некоторым данным) у брата Альберта с Яцеком Мальчевским (1854–1929), одним из ведущих художников Молодой Польши (ему принадлежат, например, картины, на которых изображены сцены высылки польских повстанцев в Сибирь).

Такого рода свободное обращение с документальным материалом (совершенно естественное для художественного сочинения) было, наверное, продиктовано не одним только стремлением воссоздать философский облик эпохи, в которую жил Адам Хмелёвский, его современники и Польша, что само по себе — исторически — чрезвычайно интересно. Заметную роль играет здесь непосредственный авторский подход к истории: человеческую жизнь, полагает он, нельзя воспринимать как отдельный кусок, вырванный из целостности времени, она всегда видится в разных ракурсах.

... не мы выбираем. Мы лишь оказываемся избранными! — важнейшее кредо проблемы призвания в богословском учении Папы Римского.

... откуда должно начинаться его наивысшее восхождение... — Ср. с богословским учением св. Иоанна Креста, запечатленным в поэтических символах «Восхождения на гору Кармель».

... она сильнее всех наших слабостей.... Ср. ап. Павел. (2 Кор 12, 9): Сила моя совершается в немощи. — Наличие евангельских цитат — явных и скрытых — в пьесе могло бы стать самостоятельной темой исследования. Мы здесь этой задачи перед собой не ставили.

Жизнь состоит из людей, которыми она наполнена, и плывет, точно течение, объединяя всех в своем устье... Библейский образ воды у К. Войтылы многогранен, но прежде всего это образ течения, преобразуемого в свет (даже более того, — на новом уровне света), — здесь: вечно пребывающей жизни; в «Свечении отцовства» — новой жизни; в цикле «Размышляя: Отчизна» — человеческой речи. Понятие течения многозначно и объемно, оно —

* Taborski B. Karola Wojtyły dramaturgia wnętrza. — Lublin, 1989.

и как символ единения людей, их языков, а более широко — как Тела Христова. Образы воды, наряду с образом дерева — его стволом и корнями, а также света, — наиболее им любимые.

Символ света конкретизируется в данном случае в образе широко открытых зрачков: ср. также Зрачок — излучение сердца (стихотворение «Симон Киринаеянин»), Предисловие к пьесе, где речь идет об особом блеске человеческого, и т.д.

Альберт... Вслед за автором мы сохраняем различные обозначения брата Альберта — и как Адама, и как Старшего брата, и как Альберта, исходя из того, что в тексте — не редакторская неточность (как можно полагать с первого взгляда), а некий прием, нацеленный на то, чтобы подчеркнуть «разность» одного и того же действующего лица. То же самое относится и к другому персонажу — Незнакомцу, который выступает и под наименованием Оратор. (В сущности, за подобным разделением скрыта целая философия, которая за рамками нашей работы.)

... а из вашей неволи возникла свобода... — взаимодействию рабства и свободы К. Войтыла посвящает не только данную сцену (в определенной степени кардинальную). К этой проблеме он обращается в цикле «Размышляя: Отчизна». Свободу как категорию человеческого, которая открывает в личности сверхъестественное бытие, он исследует в работе «Личность и поступок».

Он не имел, где приклонить голову... Ср. «... лисицы имеют норы, и птицы небесные — гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову» (Мф 8, 20).

Перевод и комментарии Е.С. Твердисловой